

БОНАВЕНТУРА



НОЧНЫЕ
БДЕНИЯ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ



BONAVENTURA



NACHTWACHEN



БОНАВЕНТУРА



НОЧНЫЕ БДЕНИЯ



Издание подготовили
А. В. ГУЛЫГА, В. Б. МИКУШЕВИЧ,
А. В. МИХАЙЛОВ



МОСКВА «НАУКА» 1990

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
СЕРИИ «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»

В. Е. Багно, Н. И. Балашов (заместитель председателя),
Г. П. Бердников, В. Э. Вацуро, М. Л. Гаспаров,
А. Л. Гришунин, Л. А. Дмитриев, Н. Я. Дьяконова,
Б. Ф. Егоров (заместитель председателя),
Н. А. Жирмунская, А. В. Лавров,
Д. С. Лихачев (председатель),
А. Д. Михайлов, Д. В. Ознобишин,
И. Г. Птушкина (ученый секретарь),
А. М. Самсонов (заместитель председателя),
И. М. Стеблин-Каменский, С. О. Шмидт

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
А. В. ГУЛЫГА

Б $\frac{4603000000-217}{042(02)-90}$ 798—90, I полугодие

ISBN 5—02—012726—4

- © Перевод на рус. яз.
В. Б. Микушевича, 1990
- © Статья А. В. Гулыги, 1990
- © Примечания
А. В. Михайлова, 1990



ПЕРВОЕ БДЕНИЕ

Пробило полночь; я закутался в мое причудливое одеяние, взял пику и рог в руки, вышел во мрак и выкрикнул час, осенив себя сперва крестным знаменем, чтобы оборониться от злых духов.

Была одна из тех жутких ночей, когда свет и мрак чередуются со странной быстротою. По небу мчались облака, гонимые ветром, словно диковинные призраки великанов, и каждое появление месяца мгновенно сменялось исчезновением. Внизу на улицах царила мертвая тишина, лишь высоко в воздухе вихрь хозяйничал, как невидимый дух.

Это было как раз по мне, и я упивался одиноким звуком шагов моих, ибо мнилось, будто я сказочный принц в заколдованном городе, где злые чары превратили в камни все живые существа, а, быть может, чума или потоп истребили всех, и я один остался в живых.

Последнее уподобление заставило меня содрогнуться, и я был рад увидеть высоко над городом в тесноте вольного чердачного пристанища одинокий тусклый огонек.

Я-то знал, кто там царил в вышине; это был поэт-неудачник, бодрствовавший в ночи, пока почивали его кредиторы, а к последним не принадлежали только музы.

Я не мог не обратиться к нему со следующей речью, которая заставила меня замедлить шаг:

«О ты, колобродящий там наверху, я хорошо понимаю тебя, ибо однажды я был подобен тебе! Но я променял это занятие на честное ремесло, которое, по крайней мере, кормит меня, и отнюдь не лишено поэзии, коли умеешь находить ее. Я стою на твоём пути, подобно язвительному Стентору¹, и здесь на земле то и дело прерываю напоминанием о времени и быстротечности грезы о бессмертии, посещающие тебя в твоей выси. Оба мы ночные сторожа; сожалею об одном: твои ночные бдения ничем тебя не вознаграждают в это холодное прозаическое время, тогда как мои как-никак всегда оправдывают себя. Когда я посвящал поэзии ночи, как ты, мне приходилось голодать, как тебе, и петь для глухих; последним занимаюсь я и теперь, но мне за это платят. О друг поэт, творчество противопоказано тому, кто теперь хочет жить. Если пение — твой врожденный порок, и ты не можешь от него избавиться, стань ночным сторожем, как я; это единственная солидная должность, где пение оплачивается и тебя не заставляют умирать с голоду.— Покойной ночи, брат поэт».

Я еще раз глянул вверх и увидел на стене его тень; он принял трагическую позу, запустив одну руку себе в волосы (другой рукой держал он листок, вероятно, прочитывая с него свое бессмертие).

Я затрубил в рог, громко крикнул ему, который час, и пошел своей дорогой.

Стоп! там не спится больному — он тоже грезит, как поэт, но грезит поистине лихорадочно.

Человек этот с давних пор был вольнодумцем, и в свой последний час он держится стойко, как Вольтер. Я вижу его сквозь щель в оконных ставнях; он бледен, однако смотрит спокойно в пустоту Ничто, куда он предполагает переселиться через какой-нибудь час, чтобы навсегда заснуть сном без сновидений. Розы жизни опали с его щек, но они все еще цветут вокруг него на лицах трех славных мальчиков. Младший несмышлениш обиженно уставился в бледный застывший лик, не находя на нем прежней улыбки. Двое других стоят и пристально смотрят; смерть пока еще непостижима для их едва произросшей жизни.

Однако молодая женщина с распущенными волосами и прекрасной обнаженной грудью в отчаянье смотрит в черную могилу, лишь время от времени как бы механически вытирая холодный пот на челе умирающего.

А рядом, пылая злобой, подняв распятие, стоит священник, пытающийся обратить вольнодумца. Его речь мощно разливается, подобно потоку, и он живописует погустороннее в смелых образах, но не денницу прекрасного нового дня, не расцветающие кущи, не ангелов, нет, это адский Брейгель² с пламенем, с безднами, со всей ужащающей дантовской преисподней.

Тщетно! Больной по-прежнему нем и недвижим; с жутким спокойствием наблюдает он, как листья падают один за другим, и чувствует, как леденящее оцепенение смерти ползет все выше и выше: к сердцу.

Ночной ветер свистел у меня в волосах и сотрясал трухлявые ставни, как смертоносный дух в своем незримом приближении. Я вздрогнул: больной вдруг достаточно окреп, чтобы оглядеться, как бы чудом исцелившись в соприкосновении с новой высшей жизнью. Эта короткая яркая вспышка уже угасающего пламени, верное предвестие близкой смерти, озаряет блестящим светом ночную драму, идущую перед умирающим, быстро, всего на одно мгновение осияв творческий весенний мир веры и поэзии. Таково двойное освещение в ночи Корреджо³, сливающее луч земной и луч небесный в едином чудесном проблеске.

Больной решительно и твердо отверг надежду на высшее и тем самым вызвал кульминацию. Священник яростно метал ему в душу грома и молнии, рисовал теперь уже огненными мазками, как бы отчаяваясь, и заклинал весь Тартар, чтобы заполнить им последний час умирающего, который при этом только улыбался и качал головой. В это мгновение я не сомневался в его вечности,— ибо только для конечного существа невыносима мысль об уничтожении, тогда как бессмертный дух принимает его бестрепетно, и, свободный, приносит ему в жертву себя, как индийские женщины смело броса-

ются в огонь, одновременно жрицы и жертвы уничтожения.

Дикое безумие, казалось, обуяло священника, и, верный себе, убедившись в бессилии описаний, он говорил теперь от лица самого дьявола, близкого ему, как никто другой. При этом священник обнаружил свое мастерство, выражаясь поистине дьявольски, в самом смелом стиле, от которого так далеки жалкие потуги современного черта.

Больной не вынес этого. Он мрачно отвернулся и взглянул на три весенние розы, цветущие у его постели. Тогда в его сердце полыхнула напоследок вся жаркая любовь, таившаяся там, по бледному лику пробежал, подобно воспоминанию, легкий румянец. Он потребовал мальчиков и поцеловал их с усилием, затем положил тяжелую голову на вздымающуюся грудь женщины, испустил тихое Ах!, в котором слышалось скорее сладострастие, чем боль, и, любящий, почил в объятиях любви.

Священник, продолжая играть роль дьявола, все еще гремел ему в уши и, руководствуясь мнением, будто слух умерших сохраняется некоторое время, заверял твердо и убедительно, что дьявол завладеет не только его душою, но и телом.

С этими словами он бросился прочь и оказался на улице. В моем смятении я, действительно, принял, было, его за дьявола и приставил пикку к его груди, когда он пытался проскользнуть мимо меня. «Иди ты к черту»,— сказал он, пыхтя; тогда я одумал-

ся и ответил: «Простите, ваше преподобие, на меня что-то нашло: я и впрямь принял вас за него самого и потому направил вам в сердце пику, как если бы сказал: «С нами Бог!» Уж не взыщите на этот раз!» Он бросился прочь.

Ах! Там в комнате разыгрывалась еще более трогательная сцена. Красавица тихо обнимала своего возлюбленного, как будто он спит; в прекрасном неведении она не чаяла его смерти, полагая, что сон подкрепит его для новой жизни — восхитительная вера, истинная в высшем смысле. Дети, как подобает, преклонили колени у постели; лишь младший пытался разбудить отца, в то время как мать, молча его увещевая глазами, положила руку на его кудрявую головку.

Сцена была слишком хороша; я отвернулся, чтобы не видеть мгновения, когда обольщение исчезнет. Приглушенным голосом я запел под окном зауспокойную песнь, чтобы тихими звуками изгнать из чутких еще ушей огненное заклятье монаха. Музыка сродни умирающим, она первый сладостный звук из потусторонней дали, и муза пения — таинственная сестра, указующая на небо. Так почил Яков Беме, уловив отдаленную музыку, которой не слышал никто, кроме умирающего ⁴.



ВТОРОЕ БДЕНИЕ

Время вновь призвало меня к моим ночным занятиям: пустынные улицы тянулись передо мной, как бы застланные, лишь время от времени их быстро пересекала в воздухе зарница, и в дальней дали слышалось бормотание, подобное заклинаниям чародея.

Мой поэт обходился без света, поскольку небо светилось и он считал, что так дешевле и заодно поэтичнее. Он всматривался ввысь, в молнии, высунувшись в окно; белая ночная рубашка была распахнута на груди, а нечесаные черные волосы взлохмачены на голове. Мне вспомнились подобные сверхпоэтические часы, когда весь внутренний мир — сплошная буря, когда вещают громами, а рука вместо пера готова схватить молнию, чтобы ею писать огненные глаголы. Тогда дух носится от полюса к полюсу, мнит, что облетает вселенную, но стоит ему заговорить, выходит детский лепет, и рука быстро рвет бумагу.

Поэтического дьявола, имевшего обыкновение под конец злорадно смеяться над моим бессилием, я привык изгонять чарующей силой музыки. Теперь затрубишь разика два попронзительнее в рог, и дьявола как ни бывало.

Я рекомендую звук моего ночного рога как подлинное *antipoeticum* повсеместно и всем, боящимся подобных поэтических наптий, как лихорадки. Средство дешевое, но при этом чрезвычайно важное, так как вы-

нешняя эпоха привыкла вместе с Платоном считать поэзию безумием с той только разницей, что первый возводил ее происхождение к небу, а не к сумасшедшему дому.

Что ни говори, поэзия сегодня всюду — дело сомнительное, ибо безумцев осталось слишком мало, а разумных столько развелось, что они своими силами способны заполнить все области деятельности, не исключая поэзии, и настоящему полоумному, как, например, мне, больше некуда податься. Поэтому я теперь лишь обхаживаю поэзию, то есть я стал юмористом, имея как ночной сторож для этого достаточно досуга.

Правда, свое призвание к юмористике я предпочел бы лишь заранее провозгласить, не ввязываясь в хлопоты, сопряженные с нею, поскольку ныне вообще не придают особого значения призванию, довольствуясь, напротив, одним званием. Разве нет поэтов со званием, но без всякого призвания, так что я самоустраняюсь.

Как раз в этот миг сверкнула молния, и мимо кладбищенской ограды проскользнули трое, ни дать, ни взять, карнавальные маски. Я окликнул их, но вокруг уже снова была ночь, и я не видел ничего, кроме сверкающего хвоста и пары огненных глаз, и вместе с дальним громом голос, как в опере «Дон Жуан»⁵, пробормотал вблизи меня: «Выполняй свои обязанности, почной вороб, и не вмешивайся в дела духов!»

Это было для меня, пожалуй, чересчур, и я ткнул пикой туда, откуда доносился го-

лос; тут снова сверкнула молния, но трое растворились в воздухе, как макбетовы ведьмы.

«Так вы не считаете меня духом,— вскричал я между тем в надежде, что они меня услышат,— а ведь я был поэтом, уличным певцом, кукольником, это ли не духовная жизнь! Мне бы знать вас, духи, при вашей жизни,— если вы действительно расстались с нею,— не мог ли мой дух тогда потягаться с вашими; или смерть прибавила вам духу, что наблюдается, к примеру, со многими великими людьми, прославившимися лишь после смерти, как будто их писания обогатились духом, пролежав достаточно долго; и то сказать, не прибывает ли духу с возрастом у выдержанного вина?»

Теперь обиталище вольподумца, отлученного от церкви, было всего лишь в нескольких шагах от меня. Тусклый свет простирался из открытой двери в почь, и зарницы весьма причудливо с ним сочетались, а с дальних гор отчетливее доносилось бормотание, как будто царство духов всерьез намеревалось ввязаться в игру.

Мертвое тело, согласно обычаю, лежало в передней для всеобщего обозрения; вокруг него горели немногие неосвященные свечи, так как священник, памятуя о дьяволе, отказался их освятить. Покойник в своем непоколебимом сне посмеивался над этим пли над своими прежними чудаческими бреднями, опровергнутыми Потусторонним, и его улыбка светилась, как отдаленный отблеск

жизни, в оцепенении черт, закрепленных смертью.

Длинный, слабо освещенный зал позволял заглянуть в нишу с черными занавесями; там неподвижно стояли на коленях три мальчика и бледная мать — Ниоба со своими детьми⁶, — погруженные в безмолвную робкую молитву, чтобы вырвать тело и душу покойного у дьявола, которому их обреч священник.

Только солдат, брат усопшего, полагался с твердой невозмутимой верой на Небо и на собственное мужество; готовый схватиться с самим дьяволом, он охранял гроб. Его выжидающий взгляд отличался спокойствием, и он посматривал то на неподвижный лик мертвого, то на частые зарницы, враждебно сверкающие при тусклых свечах; его обнаженная сабля лежала на трупе; рукоять сабли имела форму креста, как будто это оружие мирское и духовное одновременно.

К тому же вокруг царила поистине мертвая тишина; кроме отдаленного ворчанья грозы да потрескиванья свечей не было слышно ничего.

Так продолжалось, пока строгие четкие удары колокола не возвестили полночь; тогда неистовый ветер вывел вдруг на небо грозовую тучу, подобную жуткому почному мороку, и вскоре она застлала все небо своим погребальным покровом. Свечи вокруг гроба погасли, гром сердито рывкнул, как смутьян, подстрекающий тех, кто внизу, как бы крепко они ни спали; облака выплевыва-

ли пламень за пламенем, отчего периодически резко освещался лишь застывший бледный лик мертвеца.

Теперь я видел, как в ночи блистала сабля солдата, отважно вооружившегося для битвы.

Дальнейшее не заставило себя ждать — воздух выбросил пузырь, и три макбетовых духа снова обрели видимость, словно вихрь приволок их за волосы. Молния осветила перекошенные дьявольские хари со змеями вместо волос и с прочими атрибутами ада.

В это мгновение черт дернул и меня втереться в их общество, пока они шли по переулку. Они изумились, как идущие дурным путем, когда к ним примкнул четвертый, непрощенный. «К дьяволу! Разве дьяволу дано ходить благими путями! — воскликнул я, дико смеясь. — Так не теряйтесь же, встречая на дурном пути меня. Я из ваших, братья, поэтому я с вами».

Тогда они и впрямь растерялись. «С нами Бог», — вырвалось у одного, перекрестившегося к тому же мне на удивление, что заставило меня воскликнуть: «Брат дьявол! Не выходи столь разгильдяиво из твоего ампула, иначе я разуверюсь в тебе и приму тебя за святого или, по меньшей мере, за посвященного. А по зрелом размышлении мне бы скорее следовало тебя поздравить с тем, что ты, наконец, переварил крест и, закоренелый дьявол по происхождению, для виду развился до святого».

По моему разговору они смекнули, наконец, что я не их соратник, втроем напали на меня и как истые клерикалы заговорили об отлучении и тому подобном, если я буду мешать им в их предприятии.

«Не беспокойтесь,— отвечал я,— до сих пор я действительно не верил в дьявола, но теперь, когда я видел вас, он явился мне воочию, и я удостоверился, что вы освоили свое ремесло. Вершите ваши дела, так как с адом и с церковью не под силу тягаться бедному ночному сторожу».

Тогда они вошли в дом. Я не без колебаний последовал за ними.

Зрелище было жуткое. Молния и мрак поочередно нападали друг на друга. То вспыхивала молния, и можно было видеть возню трюх у гроба и блеск сабли в руке закаленного воина, а мертвец наблюдал за всем этим со своим застывшим бледным лицом, неподвижным, как личина. Потом опять воцарялась глубокая ночь, лишь вдалеке, в глубине ниши слабое сияние и коленопреклоненная мать с тремя детьми в отчаянном борении молитвы.

Все совершалось в тишине и без слов, но вдруг что-то рухнуло, как будто дьявол одержал верх. Молнии вспыхивали реже, мрак царил дольше. Через минуту-другую двое рванулись к двери, и в темноте мне достаточно было сверканья их глаз, чтобы увидеть — они, действительно, уносили с собой мертвеца.

Я стоял у двери, тая про себя проклятья;

в передней было совсем темно, ни одна душа не шевелилась, и я подумал, что даже доблестному воину, по меньшей мере, сломали шею.

В это мгновение полыхнула яркая молния, с которой грозовая туча полностью разрядилась; и пламень оставался некоторое время в вышине, подобно водруженному факелу, не погасая. Тут я увидел, что солдат в холодном спокойствии вновь стоит у гроба, а труп улыбается по-прежнему, — но, о чудо! рядом с улыбающимся мертвым лицом почти вплотную к нему ухмылялась дьявольская личина; ей недоставало туловища, и кровь пурпурно-красным потоком окрашивала белый саван почившего вольнодумца.

В ужасе я закутался в плащ, позабыл затрубить, позабыл пропеть, который час, и побежал по направлению к моей лачуге.



ТРЕТЬЕ БДЕНИЕ

Нас, ночных сторожей и поэтов, и вправду мало занимает людская суета, творящаяся днем, потому что ныне одна из установленных истин гласит: действия людей в высшей степени будничны, и разве что их сновидения подчас представляют некоторый интерес.

По этой причине я удовольствовался бессвязными толками об исходе того происшествия и намерен передать их столь же бессвязно.

Больше всего ломали головы по поводу головы, ведь то была не обычная, а доподлинно дьявольская голова. Когда обратились к юстиции, она отклонила это дело, заявив, что головы не имеют к ней отношения. Ситуация осложнилась, и завязался спор, начать ли против солдата уголовный процесс по обвинению в убийстве или, напротив, причислить его к лику святых, так как убитый был дьявол. Последнее повлекло за собой новые неприятности, а именно: в течение нескольких месяцев отсутствовал спрос на отпущение грехов, так как существование дьявола теперь попросту отрицали, используя как аргумент голову, принятую на хранение. Попы до хрипоты кричали со своих кафедр, утверждая без всяких оковичностей, что дьявол может обойтись без головы, что доказательства в их распоряжении и они готовы представить их.

От самой головы, по существу, толку было мало. Физиономия была железная, однако замок, висевший с краю, заставлял предположить, что дьявол прятал под первым лицом другое, быть может, сберегаемое для особо торжественных дней. Хуже всего было то, что отсутствовал ключ к замку и, следовательно, к другому лицу. Кто знает, какие устрашающие замечания о дьявольских физиономиях позволило бы оно сделать,

тогда как с первым лицом, явно будничным, дьявол выступает на любой гравюре.

Среди всеобщего разброда и неопределенности, доподлинно ли дьявольское лицо перед любопытствующими, вознамерились, было, послать голову доктору Галю⁷ в Вену, чтобы он обшаружил на ней несомненные сатанические протуберанцы; тогда в игру внезапно вмешалась церковь, провозгласив себя первой и последней инстанцией при принятии подобных решений; она затребовала череп себе, и, как было вскоре объявлено, он исчез, а некоторые господа духовного звания якобы видели в ночной час дьявола, уносящего с собой отсутствующую голову.

Так что дело осталось, мягко говоря, темным, да и единственный, кто мог бы пролить какой-нибудь свет, а именно тот священник, предавший вольнодумца анафеме, внезапно умер от удара. По крайней мере, такой ходил слух, распространяемый господами монахами: самого тела не видел ни один мирянин, потому что с погребением вынудило поторопиться теплое время года.

Эта история не раз приходила мне в голову во время моих ночных бдений, так как я верил до сих пор лишь в поэтического дьявола, а отнюдь не в действительного. Что же касается дьявола поэтического, поистине жаль, что он теперь в таком пренебрежении, и началу, абсолютно злему, охотно предпочитают злодеев добродетельных в манере Ифланды или Коцебу⁸, когда дьявол очело-

вечивается, а человек, так сказать, одьявливается. В зыбкую эпоху внушает страх все абсолютное и самобытное; вот почему для нас невыносимы как настоящая шутка, так и настоящая серьезность, как настоящая добродетель, так и настоящее злодейство. Характер времени шит из разных лоскутков и заштопан, как шутовской наряд, но хуже всего то, что шута в таком паряде принимают всерьез.

Предаваясь подобным размышлениям, я встал в нишу, заслонив каменную статую святого Криспина, облаченного в такой же серый плащ, как я. Тут передо мной вдруг зашевелились две фигуры, мужчина и женщина; они почти прислонялись ко мне, считая меня слепоглухонемым из камня.

Мужчина весьма понаторел в риторической трескотне и на одном дыхании вещал о любви и верности; женообразная фигура, напротив, доверчиво сомневалась, театрально ломая себе руки. Но вот мужчина лихо призвал меня в свидетели и поклялся, дескать, стоять ему непоколебимо и недвижно, как статуя. Тут во мне пробудился сати́р, и когда кавалер как бы для убедительности положил руку на мой плащ, я слегка, но сердито встряхнулся, чем удивил обоих; однако влюбленный не принял моего движения всерьез, предположив, что под статуей осел постамент, и равновесие несколько нарушилось.

Он клялся собственной душою, что будет верен, разыграв десять ролей подряд из во-

вейших драм и трагедий; наконец, он заговорил, подражая Дон Жуану, на представлении которого присутствовал в тот вечер, и заключил свой монолог знаменательными словами: «Да явится сей камень, как ужасный гость, к нам на ужин, если я покривил душой».

Я принял это к сведению и выслушал, как она описывала ему дом, дверь, открывающуюся с помощью потайной пружины, и все это для того, чтобы назначить час ночного ужина: полночь.

Я пришел на полчаса раньше, нашел дом, дверь с потайной пружиной и бесшумно проскользнул по лестницам наверх в зал, где чуть брезжило. Свет падал из двух застекленных дверей; я приблизился к одной из них и увидел за рабочим столом существо в шлафроке, вызвавшее у меня сначала сомнения, человек это или заводное устройство, настолько стерлось в нем все человеческое, кроме разве только рабочей позы. Существо писало, зарывшись в актах, как погребенный заживо лаплайдец. Оно как бы намеревалось припоровиться заранее к подземному времяпрепровождению и обитанию, поскольку все страстное и участливое уже погасло на холодном деревянном лбу; марионетка сидела, безжизненно водруженная в канцелярской гробнице, полной книжных червей. Вот ее потянули за невидимую проволоку, и пальцы защелкали, схватив перо и подписав три бумаги подряд; я присмотрелся — это были смертные приговоры. На

столе лежал Юстиниан⁹ вместе со сводом уголовных и уголовно-процессуальных законов, как бы олицетворявшим душу марионетки.

Придраться было не к чему, но холодный праведник представлялся мне автоматической машиной смерти, действующей без всяких побуждений, а его рабочий стол выглядел как лобное место, где в одну минуту тремя штрихами пера он привел в исполнение три смертных приговора. Клянусь небом, если бы я мог выбрать, я предпочел бы жребий живого грешника, а не этого мертвого праведника.

Я был еще более поражен, когда увидел его удачнейшее восковое изображение, неподвижно восседавшее напротив, как будто мало было одного безжизненного экземпляра и потребовался еще один, чтобы показать с двух разных сторон мертвую диковину.

Тут вошла вышеупомянутая дама, и марионетка, сняв шапочку, положила ее подле себя в робком ожидании. «Все еще не спите? — сказала вошедшая. — Что за странный образ жизни вы ведете! Вечные фантазии!» — «Фантазии? — спросил он удивленно. — Что вы имеете в виду? Я далеко не всегда понимаю новейшую терминологию, которой вы пользуетесь при разговоре». — «Как может быть иначе, когда вас не интересуется ничто высшее, даже трагическое!» — «Трагическое? Ну, чего другого, а трагического хватает, — ответил он самодовольно. — Посмотрите, я предписываю казнь трех пре-

ступников!»— «Ах, что за эмоции!»— «Как? А я-то думал порадовать вас; ведь в книгах, которые вы читаете, так много смертей. Я даже приурочил казни к вашему дню рождения, чтобы сделать вам сюрприз».— «Господи! Мои нервы!»— «Ах, ваши нервные припадки в последнее время настолько участились, что мне страшно заранее».— «Да, уж вы-то, к сожалению, тут помочь не можете. Идите, умоляю, и ложитесь спать».

Разговор кончился, и он ушел, вытирая пот со лба. В тот миг я принял поистине дьявольское решение выдать ему, если возможно, пытку же ночью его жену, чтобы он восстановил свою власть над ней, согласно своду уголовно-процессуальных законов.

Мой Марс проскользнул к своей Венере, не заставив себя ждать. Я же хромал от природы да и внешнею не блистал, так что вполне сошел бы за Вулкана, если бы не отсутствие золотой сети, но я решил за неимением таковой применить золотые истины и нравоучения. На первых порах приличие почти не страдало; мой проказник грешил пока что лишь против поэзии, злоупотребляя физиологией при своих описаниях; он изображал небо, полное нимф и шаловливых амуров, намереваясь использовать его как балдахин для своего ложа, путь к этому ложу усевал фальшивыми розами, разбрасывая их в изобилии словесных выкрутасов, а когда шипы все-таки грозили поранить ему ноги, он обходил их, прибегая к легким игривым двусмысленностям.

Но когда грешник окончательно погрузился в поэтическую стихию, в духе новейших теорий совершенно отбросив мораль, когда он занавесил стеклянную дверь зеленым шелком и все начало принимать характер альковной сцены, я не преминул использовать мое *antipoeticum* и пронзительно затрубил в рог ночного сторожа, вскочив на пустой пьедестал, который предназначался для статуи Справедливости, а она была еще в работе, так что мне оставалось лишь стоять тихо и неподвижно.

Ужасный звук согнал с обоих поэзию, как и сон с мужа, и все трое выбежали вдруг одновременно из двух разных дверей.

«Каменный гость!» — вскричал, содрогнувшись, любовник, заметив меня. «Ах! Моя Справедливость — (реплика супруга) — она, наконец, готова; какой неожиданный сюрприз устроила ты мне, милочка!» — «Чистейшее заблуждение, — сказал я. — Справедливость все еще лежит у скульптора, и я лишь временно занял пьедестал, не пустовать же ему при таких важных событиях. Конечно, моя пригодность ограничена, ибо Справедливость холодна, как мрамор, и у нее нет сердца, а я, бедняга, отличаюсь мягкостью, чувствительностью, да и поэтические настроения кое-когда посещают меня, но в обычных обстоятельствах я могу послужить дому и в случае нужды сойду за каменного гостя. Такие гости хороши тем, что они не участвуют в трапезе и не согреваются, когда это может принести вред, а другие воспа-

меняются, напротив, так легко, что хозяина бросает в жар, как это имеет место в данный момент».

«Ай, ай, Господи, что творится!» — пролепетал супруг.

«Немые заговорили, полагаете вы? В нашу эпоху это происходит от общего легкомыслия. Не следует рисовать черта на стене. Наши молодые светские господа нарушили этот запрет да еще злоупотребляют своей неосторожностью перед слабыми душами, чтобы выгладеть героями хотя бы с одного боку. Я поймал одного такого господина на слове, хотя мне полагалось бы стоять вовсе не здесь, а на базаре в сером плаще в качестве каменного святого Криспина».

«Господи, как осмыслить подобное, — отозвался супруг испуганно, — это непорядок, и вообще ни на что не похоже!»

«С точки зрения правоведа, разумеется! Этот Криспин был, как известно, сапожником, но, отличаясь особенным благочестием, а также от избытка истинной добродетели занялся воровством и крал кожу, чтобы тащить обувь бедным. Какой вынести ему приговор, судите сами! Я не вижу другого выхода кроме как повесить его, а потом причислить к лику святых. Подобными принципами подобало бы руководствоваться, когда судят прелюбодеев, нарушающих закон лишь для того, чтобы сохранить мир в семье; намерение при этом, очевидно, похвальное, к чему все, главным образом, и сводится. Иная жена, чего доброго, замучи-

ла бы мужа до смерти, когда бы не подвернулся такой друг дома, ставший негодяем из чисто моральных побуждений. Собственно, я придерживаюсь моей темы, и мы могли бы во имя Божье начать уголовный процесс, ведущий к смертному приговору. Но я вижу, что обвиняемые оба лежат в обмороке; придется сделать перерыв».

«Обвиняемые? — механически спросил супруг.— Я не вижу никаких обвиняемых. Это моя дражайшая половина!».

«Тем лучше, рассмотрим сначала ее дело. Дражайшая половина! Совершенно верно! Это значит крест или казнь в браке, и поистине может быть сочтен образцовым брак, в котором этот крест составляет лишь половину. Если вы, как вторая половина, составляете блаженство брака, то ваш брак не что иное, как небо на земле».

«Блаженство брака,— молвил тот с глубоким вздохом.— Не надо сентиментальных отступлений, любезный друг, обратим лучше взгляд на второго обвиняемого, который лежит в обмороке от страха перед каменным гостем. Если мы, как лица, обладающие правосознанием, смеем по моральным соображениям ссылаться на смягчающие обстоятельства, я готов даже стать его защитником и хотел бы, по меньшей мере, избавить его от казни через отсечение головы, к чему его приговаривает Каролина¹⁰, но у таких молодчиков голову можно отрубить лишь *in effigie*¹¹, так как, строго говоря, у них не может быть и речи ни о какой голове!».

«Неужели Каролина дошла до такой жестокости? — пробормотал супруг в полной растерянности. — Она же содрогалась раньше, когда я заговаривал о смертной казни!»

«Не осуждаю вас, — ответил я, — за то, что вы спутали обеих Каролин, ибо спутница вашей жизни по имени Каролина, как брачный крест и пытка, и та другая, предписывающая смертные приговоры, что отнюдь не звучит небесной музыкой, друг друга, бесспорно, стоят. Больше того, я отважился бы утверждать, что брачная похуже императорской, ибо та, по крайней мере, ни в одном случае не предписывает *пожизненной* пытки».

«Но, Боже мой, так не может продолжаться, — сказал он вдруг, словно приходя в себя. — Непонятно, бодрствуешь или грезишь; я был бы не прочь оцупать и ущипнуть себя лишь для того, чтобы убедиться, сплю я или нет, но я готов поклясться: только что я слышал ночного сторожа!»

«О Господи! — воскликнул я. — Теперь мой черед пробудиться; вы назвали меня по имени и, на мое счастье, я нахожусь не слишком высоко, то есть не на крыше и не в поэтическом парении, иначе я упал бы, сломав себе шею. Но, к счастью, я стою не выше, чем стояла бы здешняя Справедливость, и я пока еще остаюсь человеком среди человеков. Вы всматриваетесь в меня, и мой облик ничего не говорит вам, но я разрешу ваше недоумение. Я здешний ночной сторож и лунатик по совместительству, ве-

роятно, потому, что обе эти функции не исключают друг друга в одном лице. Когда я выполняю мои обязанности ночного сторожа, меня как лунатика нередко одолевает охота взбираться на заостренные вершины, как, например, на коньки крыш или на другие подобные критические высоты, поистине так я попал здесь на пьедестал Фемиды. Эта отчаянная причуда приведет когда-нибудь к тому, что я сломаю себе шею, однако пока что мне частенько доводится таким необычным способом оберегать благонамеренных жителей этого города от воров как раз потому, что я имею обыкновение посещать все закоулки, а ведь это еще самые безобидные воры, промышляющие лишь на улице с ломami по магазинам. Вот обстоятельство, надеюсь, извиняющее меня, засим желаю вам всего наилучшего!»

Я удалился, оставив изумленного супруга наедине с теми двумя, как раз только что пришедшими в себя. О чем они потом беседовали между собой, я не знаю.



ЧЕТВЕРТОЕ БДЕНИЕ

К излюбленным местам, где я имею обыкновение задерживаться во время моих ночных бдений, принадлежит выступ старого готического собора. Здесь я сижу при мер-

цающем свете единственной неугасимой лампы и часто сам себе кажусь ночным призраком. Место располагает к размышлениям; сегодня оно навело меня на мою собственную историю, и я перелистал словно бы скуки ради книгу моей жизни, написанную сумбурно и достаточно безрассудно.

Уже первая страница озадачивает, а на странице пятой речь идет не о моем рождении, а о том, как искать клады. Читатель увидит здесь таинственные каббалистические знаки, а на сопроводительной гравюре изображен странный сапожник, предпочитающий своему ремеслу науку делать золото. Рядом с ним цыганка, вся желтая и как бы безликая: растрепанные космы падают ей на лоб; она-то и обучает сапожника искать клады, дает ему лозу, предназначенную для этого, и точно указывает место, где он через три дня должен выкопать сокровище. Я сегодня не в настроении останавливаться на чем-нибудь, кроме гравюр в книге, и потому перехожу ко

второй гравюре.

Здесь перед нами опять сапожник, но уже без цыганки; художнику на этот раз удалось придать его лицу куда бóльшую выразительность. В чертах лица чувствуется сила, свидетельствующая о том, что сей муж, не ограничиваясь ногами людей, продвинулся *ultra speredam*¹². Перед нами сатира на очередной промах гения, доказывающий: кто хорошо делает шляпы, тот плохо шьет сапоги, и наоборот, если поставить пример

на голову. Действие происходит на перекрестке; черные штрихи намекают на мрак ночи, зигзаг на небе обозначает молнию. Очевидно, любого другого честного ремесленника подобные окрестности обратили бы в бегство, однако нашего гения этим не проймешь. Он только что вытащил из углубления тяжелый сундучок и успел уже открыть предполагаемое вместилище добытого клада. Но, о небо! его содержимое назвал бы кладом разве что чужак любитель,— ибо в сундучке нахожусь я собственной персоной без всяких имущественных приложений, но вполне готовый гражданин мира. Какие бы соображения ни возникли у кладонскателя по поводу его находки, гравюра отнюдь не показывает нам их, так как художник остался верен своему искусству, ни в чем не переступая его границ ¹³.

Третья гравюра.

Здесь требуется хитроумный комментатор.— Я сижу на одной книге, а читаю другую; мой приемный отец занят башмаком, что как будто не мешает ему в то же время на свой лад размышлять о бессмертии. Книга, на которой я сижу, содержит масленичные действия Ганса Сакса ¹⁴, а читаю я «Утреннюю зарю» Якова Беме ¹⁵; эти две книги составляют ядро нашей домашней библиотеки, поскольку оба автора были мастерами-сапожниками и поэтами.

Не буду пускаться в дальнейшие объяснения, так как на гравюре и так уделяется слишком много внимания моей своеобразно-

сти. Я лучше почитаю относящуюся сюда
третью главу

про себя в тишине. Она сочинена моим сапожником, зашедшим достаточно далеко, чтобы самолично продолжить мое жизнеописание, и начинается она так:

«Частенько даюсь я диву, глядя на Крейцганга (согласно обычаю, мне дали при крещении имя места, где я был найден). Выше обычного сапога его и не достанешь, ибо есть в нем что-то чрезмерное, как в старом Беме, который тоже раненько пошел глубже сапожного ремесла и впал в тайну. Так и этот; обыкновеннейшие явления представляются ему необыкновеннейшими, например восход солнца, происходящий каждый день и не внушающий нам, прочим детям человеческим, никаких особенных мыслей. Также звезды на небе и цветы на земле, которым он приписывает способность вести частые беседы между собой и таинственно общаться. Недавно он совсем сбил меня с толку, расспрашивая о башмаке; сначала он пожелал знать его составные части, и когда я обстоятельно ответил ему, потребовал объяснений по поводу их состава, устремляясь все выше и выше, сперва в область естественных наук, поскольку кожу он возводил к быку, но и на этом не остановился, пока, наконец, я с моим башмаком не оказался в сфере геологии, и он мне напрямик не объявил, что я никудышный сапожник, так как не могу поведать ему о первоосновах моего ремесла. К тому же он часто называет цветы письменами,

которые мы разучились читать; то же самое говорит он о пестрых камнях. Он надеется когда-нибудь изучить этот язык и обещает поделиться диковинками, которые тогда ему откроются. Часто он прислушивается тайком к жужжанию комаров или мошек при солнечном свете, полагая, что они разговаривают о важных предметах, а людям это до сих пор вовсе даже невдогад; когда он разглагольствует подобным образом в мастерской перед учениками и подмастерьями, и те смеются над ним, он ничтоже сумняшеся объявляет их слепыми и глухими, они-де не видят и не слышат, что происходит вокруг них. Теперь он день и ночь сидит над Яковом Беме и Гансом Саксом, над этими двумя чудными сапожниками, и при своей-то жизни никого не вразумившими. Одно мне ясно, как день: этот Крейцганг не то, что обыкновенные дети человеческие, недаром же я обрел его столь необыкновенным путем.

Никогда не забуду я вечера, когда я, огорченный моим скудным заработком, задремал здесь на треножнике; говорят, что неспроста это был именно треножник; мне приснилось, будто я нашел сокровище в скрыне, но ее не велено открывать, пока я не проснусь. Все это было так отчетливо и очевидно, сон и явь так четко различались, что некий замысел засел у меня в голове, и я не мог от него отделаться, пока, наконец, не свел знакомство с цыганкой, чтобы и впрямь попытаться.

Все шло своим чередом: я извлек ларец, виденный мною во сне, прикинул сперва, не сплю ли я, и лишь потом открыл его, но вместо чаемого золота я, оказывается, откопал из земли это чудо-дитя.

Сначала я был в некоторой растерянности, так как подобному живому сокровищу должно было бы сопутствовать неживое, если бы все шло своим чередом, но мальчуган был голенький, да еще засмеялся к тому же, когда я на него взглянул. Опомившись, я глубже вник в это дело, осмыслил его по-своему, да и понес бережно мое сокровище домой».

Я вспоминал слова моего достойного сапожника, пока некое странное явление не прервало вдруг этого занятия. Высокая мужская фигура, закутанная в плащ, вошла под свод и остановилась у могильного камня. Я тихонько скользнул за ближайшую колонну, фигура отбросила плащ; сквозь черные волосы, ниспадавшие на лоб незнакомцу, я различил гневный бледно-смуглый лик южанина.

Я чувствую себя перед лицом чужой необычной человеческой жизни как перед занавесом, за которым должен разыгрываться шекспировский спектакль, и я предпочел бы, чтобы это была трагедия, ибо с подлинной серьезностью для меня совместима лишь трагическая шутка и такие шуты, как в «Короле Лире», поскольку только им хватает дерзости, чтобы издеваться en gros без всяких околичностей над человеческой

жизнью в целом. Напротив, мелкие зубоскалы и добряки комедиографы, ограничивающиеся лишь домашним кругом, в отличие от Аристофана, отважившегося высмеивать самих богов, глубоко отвратительны мне, как и жалкие слезливые душонки, которые, не смея разрушить всю человеческую жизнь и вознести над ней самого человека, измышляют убогое мучительство да еще умудряются истязать свою жертву в присутствии врача, безукоризненно определяющего все допустимые степени пытки, чтобы бедняга, даже оставшись калекой, все-таки ковылял кое-как по жизни, как будто жизнь — это высшее, а не сам человек, идущий дальше жизни, ибо что такое жизнь, если не акт первый, то есть ад в Божественной Комедии, через которую человек проходит в поисках идеала.

Тот, кто вблизи от меня преклонил колени на могильной плите, держа в руке сверкающий кинжал, выхваченный из ножен изящной работы, казался мне подлинно трагическим персонажем и притягивал меня к себе, завораживая своим обаянием.

Я не собирался поднимать тревогу в случае, если он предпримет что-нибудь серьезное; так же мало устраивала меня роль закулисного наперсника, готового в пятом акте, согласно тексту, вовремя протянуть моему герою руку помощи; я усматривал в его жизни лишь изящные ножны, подобные тем, которые он держал в руке и которые в красочной оболочке таили кинжал; уподобля-

лась она и корзине цветов, где среди роз подстерегала Клеопатру ядовитая змея, а когда драма жизни принимает такой оборот, недопустимо намерение предотвратить трагическую катастрофу.

Когда я еще управлял марионетками, у меня был царь Саул, и на него до последнего волоса походил мой незнакомец всеми своими манерами — те же деревянные механические движения, тот же стиль каменной древности, которым труппы марионеток рождаются от живых актеров, не умеющих даже умереть как следует на сегодняшней сцене.

Занавес не успел опуститься, а все уже кончилось: рука, занесенная для смертельного удара, вдруг оцепенела, и коленопреклоненный напоминал каменное изваяние на могильной плите. Между острием кинжала и грудью, которую он должен был пронзить, оставалась какая-нибудь пядь, и смерть вплотную приблизилась к жизни, однако время как будто прекратилось, не желая больше идти, так что мгновение совпало с вечностью, навсегда исключаящей все перемены.

На меня напала настоящая жуть, я испуганно взглянул на циферблат церковных часов, и там стрелка застыла, показывая ровно полночь. Я сам был как бы парализован, и вокруг все было мертво, неподвижно: человек на могиле, собор со своими оцепенелыми высокими колоннами и монументами, с каменными рыцарями и святыми, преклонившими колени вокруг и, казалось,

ожидавшими нового времени, чье наступление расколдует и раскует их.

Но все это быстро прошло, часовой механизм собрался с духом, стрелка двинулась, и бой часов начал медленно разноситься под пустынным сводом, возвещая первый час пополуночи. Часовая пружина, казалось, вернула человеку на могиле свободу движений, кинжал лягнул по камню и сломался.

«Проклятый столбняк,— сказал человек холодно, как будто по привычке,— никогда не удастся мне нанести удар!» С этими словами он встал, как ни в чем не бывало, и уже собирался удалиться.

«Ты мне по душе,— вскричал я,— в твоей жизни есть и благородство, и неподдельное трагическое спокойствие. Мне нравится величавое классическое достоинство в человеке, которому пенавистны слова, когда нужны действия, и твоя готовность к подобному *salto mortale* незаурядна: таких усилий предпочитают избегать, пока это возможно».

«Если ты можешь поспособствовать мне в моем прыжке,— ответил он мрачно,— тогда хорошо, в противном случае не расточай впустую похвал и суждений. Об искусстве жить написано больше, чем слишком много, а я ищу трактат об искусстве умирать, и все напрасно: я не могу умереть!».

«О если бы таким твоим талантом обладали некоторые из наших популярных писателей! — вскричал я.— Их произведения так и оставались бы однодневками, но если

бы они сами были бессмертны, они вечно поставляли бы свои сочинения-однодневки, сохраняя популярность до Страшного суда. К сожалению, слишком рано наступает для них час, когда они должны умереть вместе со своими недолговечными поделками. О друг, если бы в это мгновение я мог вознести тебя до Коцебу, такой Коцебу никогда не скончался бы, и даже в конце мира его творения скопились бы на хогартовском «хвосте»¹⁶, и Время могло бы запалить последнюю трубку, которую оно выкурит, сценой из его последней драмы, вдохновенно переходя в вечность».

Человек хотел тихо скрыться, не произнося, в отличие от плохих актеров, никакой сокрушительной финальной тирады, но я удержал его за руку и сказал: «Не спеши, друг, времени тебе хватит, насколько вообще можно говорить о времени, ибо, исходя из твоих слов, я принял тебя за вечного жиды, который кощунствовал против Бессмертного и был наказан бессмертием уже здесь, когда вокруг него все проходит. Вид у тебя мрачный, ты единственный человек, чью жизнь никогда не пронзит стрелка, летящая по циферблату, этот острый меч, неутомимый в убийстве, и ты скончаешься не раньше, чем сокрушится железо ее колес. Легче относись к происходящему; право же, стоит позабавиться и в качестве зрителя присутствовать до последнего акта на этой великой трагикомедии, именуемой всемирной историей, а в конце тебе предстоит осо-

бое удовольствие, когда ты будешь наблюдать исчезновение всех вещей во всемирном потоке, стоя на последней вершине как единственный оставшийся в живых; ты освищешь всю пьесу по своей прихоти, а потом, второй Прометей, неистовый и гневный, низвергнешься в бездну».

«Я бы освистал,— угрюмо буркнул человек,— если бы сочинитель не впутал в пьесу меня самого как действующее лицо, чего я не прощу ему никогда».

«Тем лучше! — воскликнул я.— Тогда в пьесе будет еще и славный бунт в конце, когда главный герой восстанет против своего автора. Разве так не случается достаточно часто и в мелких подражаниях великой всемирной комедии, когда герой в конце концов перерастает своего автора и тот никак не может совладать с ним. О, послушать бы мне твою историю, ты вечный странник, чтобы смеяться над нею, пока меня всего не затрясет, так как я имею обыкновение смеяться над настоящей серьезной трагедией и, напротив, то и дело плачу, когда идет хороший фарс, ибо истинная доблесть и величие всегда воспринимаются с двух противоположных сторон».

«Я понимаю тебя, шутник! — ответил человек.— Как раз теперь и я в неистовстве, достаточном для того, чтобы со смехом поведать тебе мою историю. Но, Небо — свидетель, если по твоему лицу проскользнет хоть намек на серьезность, я онемею в то же мгновение!»

«Не беспокойся, дружище, я буду смеяться с тобою»,— ответил я и, усевшись под целой каменной рыцарской семьей, молящейся на могиле, он начал так:

«Дьявольски скучно, согласись, разворачивать свою собственную историю поэтапно, как того требует истинное благодушие, поэтому я лучше перейду прямо к действию и представлю ее комедией марионеток с шутком; тогда целое будет нагляднее и забавнее.

Сначала дрянными деревенскими музыкантами исполняется моцартовская симфония, что хорошо подходит к бездарно испорченной жизни и возвышает чувство великими помыслами, когда при таком пилканье ты готов броситься хоть к черту в зубы. Потом выступает шут и просит извинить кукольника, который поступил, подобно Господу Богу, доверив значительнейшие роли бесталаннейшим актерам, однако отсюда проистекает и некое благо: пьеса получается трогательная, как бывает с великими трагическими сюжетами в обработке мелких заурядных поэтов. Шут делает пелепейшие замечания о жизни и характере эпохи, утверждая, будто и то и другое скорее трогательно, чем комично, и над людьми следует скорее плакать, нежели смеяться; посему, дескать, он сам сделался серьезным, высокоморальным шутом, выступающим лишь в благородном жанре, что приносит ему обильные аплодисменты.

Затем являются сами деревянные куклы; два брата без сердец обнимаются, и шут

смеется над щелканьем рук и над лобзанием, при котором безжизненные губы не шевелятся. Один деревянный брат и функционирует, как марионетка, выражается с бесконечной напыщенностью, произносит длинные сухие периоды, которые не имеют ничего общего с жизнью и потому могут служить образцом прозаического стиля. Другая кукла не прочь пожемапничать и подделывается под живого актера, изъясняется дурными ямбами, даже время от времени рифмует последние слоги, а шут кивает при этом головой, произнося речь о теплоте чувства, свойственного марионетке, и об изысканной декламации трагедийного стиха. Потом братья подают друг другу руки и уходят. Шут танцует соло вдобавок, а в антракте снова говорит Моцарт через деревенских музыкантов.

Действие развивается дальше. Выступают две новых куклы, Коломбина с пажом, раскрывающим над нею зонтик, чтобы защитить ее от солнца; Коломбина — примадона труппы, и без лесты можно сказать, что игрушечник смастерил шедевр в ее образе. Поистине эллинские контуры, работа на грани идеального совершенства. Входит один из братьев, тот, который до этого изъяснялся в прозе; он видит Коломбину, ударяет себя по тому месту, где полагается быть сердцу, вдруг начинает говорить стихами, рифмует конечные слоги или пользуется ассонансами на „а“ и „о“, пугая этим Коломбину; та убегает вместе с пажом. Кукла бросается

было за ней, но тут кукольник допускает маленькую небрежность, и бегущий очень сильно толкает шута, который экспромтом произносит очень злую сатирическую речь, разъясняя, что творец — то есть кукольник — не соблаговолил предназначить даму этой кукле, и пьеса, таким образом, обретает настоящую нелепость и комизм, делая меланхолического дурака наимешнейшим персонажем фарса. У куклы вырываются проклятья, она даже хулит самого кукольника, отчего зрители хохочут до слез. Наконец, кукла укрепляется в надежде обрести свою даму и решает искать ее по всему театру. Шут сопровождает ее.

В третьем акте снова появляется Коломбина и очень мило обходится с другим кукольным братом, они вместе поют нежный дуэт, а потом обмениваются кольцами, на что деловито отзывается старый Панталоне с музыкантами, исполняющими много веселой музыки, только звуки ее не слышны, и это производит странное впечатление на зрителей. Наконец, под беззвучную музыку танцуют, и Панталоне оценивает по достоинству свой музыкальный слух в подтверждение сказки, будто звуки, замерзшие на Северном полюсе, могут лишь на теплом юге оттаять до слышимости. Все это так странно, что поистине не знаешь, шутят с тобой или нет; самые рассудительные среди зрителей уже усматривают в действии нелепость.

Когда два первых отправляются в постель, снова приходит шут с другим братом. Тот

рассказывает, как он предпринял дальние путешествия от одного полюса к другому, нигде не найдя Коломбины, и потому в отчаянье намерен лишиться себя жизни. Шут открывает клапан у кукольного брата, и, к своему удивлению, действительно обнаруживает сердце, что вызывает у него озабоченность и страх, наталкивающий на некоторые разумные мысли, как, например, не есть ли все в жизни, и боль, и радость, — лишь явление, но тут сказывается одна сомнительная точка: само явление никогда не проявляется, и марионетки не только не подозревают, что люди смеются над ними, забавляясь их игрою, а, напротив, мнят себя важными, значительными персонами. Шут силится разъяснить существо марионетки, постоянно путается при этом и в конце длинной, весьма потешной речи возвращается туда, откуда начал. Ядовито посмеиваясь в кулачок, он уходит.

В четвертом акте оба брата встречаются, и пока говорит брат, наделенный сердцем, немые звуки из предыдущего акта вдруг становятся слышны и аккомпанируют словам, что приводит брата без сердца в крайнюю растерянность. К тому же выступает Арлекин, издеваясь над любовью, так как в ней нет ничего героического и она не может служить общественному благу. Он призывает кукольника в принципе упразднить любовь и ввести для своей труппы чистые нравственные чувства. Напоследок он требует ревизии рода человеческого и некоторых

необходимейших изменений в системе Вселенной, а также упорно допытывается, почему он должен разыгрывать дурака ради неизвестной ему публики.

Теперь вырисовывается трагическая ситуация, причем весьма неудовлетворительно. А именно, появляется прекрасная Коломбина, и когда брат без сердца представляет ее другому как свою супругу, тот, не говоря ни слова, в высшей степени неуклюже падает и ударяется деревянной головой о камень. Те двое убегают, чтобы прислать кого-нибудь на помощь, а шут поднимает его, вытирает кровь со лба, как ни в чем не бывало, убеждает его, что поскольку нет никаких вещей в себе, следует выбросить из головы камень и всю эту историю. К тому же он восхваляет кукольника, отменившего греческий фатум, чтобы установить в театре моральный строй, согласно которому все должно разрешиться благополучно.

Последний акт может насмешить до смерти. Сперва играют глупейший вальс, рассчитанный на трогательность; потом появляется марионетка, наделенная сердцем, и убеждает Коломбину посредством силлогизмов и софизмов в том, что кукольник перепутал куклы и она досталась его брату в супруги по ошибке, а в соответствии с комической развязкой пьесы она принадлежит ему самому. Коломбина как будто верит ему, но по моральным соображениям, а также из благоговения перед кукольником притворляется, будто не верит, и брат, наделенный

сердцем, придя в отчаянье, наспех пытается похитить ее. Она пренебрежительно отталкивает его, и он ведет себя, как бесноватый, бьется деревянным лбом в стену и применяет ассонансы на «у». Напоследок он бросается прочь, а когда мимо него проходит в ночной рубашке сонный паж из второго акта, вталкивает его в комнату, которую запирает.

После короткой паузы он появляется вместе с кукольным братом, который держит в руке обнаженный кинжал и после короткой напыщенной тирады закалывает сперва пажа, потом Коломбину и, наконец, закалывается сам. Брат придурковато столбенеет среди трех деревянных кукол, валяющихся на полу, потом, не говоря ни слова, он тоже хватается за шпагу, чтобы довершить картину и отправить туда же себя самого; но в это мгновение лопается проволока, слишком туго натянутая кукольником, рука не может нанести удара и неподвижно повисает; в тот же миг некий чужой голос доносится из уст куклы, восклицая: «Живи вечно!»

Тут вновь появляется шут, чтобы смягчить его и утешить, однако заходит слишком далеко и сердито замечает между прочим, какую глупость делает марионетка, позволяя себе предаваться самоанализу, будучи обязанной лишь повиноваться прихотям кукольника, а тот снова бросит ее в ящик, когда ему заблагорассудится. Потом он говорит много хорошего о свободе воли и о

бреднях в голове марионетки, разумно и реалистически освещая проблему, и все это для того, чтобы доказать кукле, как нелепо с ее стороны придавать подобным казусам слишком большое значение, когда все это, в конце концов, не более, чем фарс, где, в сущности, один только шут играет разумную роль именно потому, что для него фарс — не более, чем фарс».

Тут человек замолчал на мгновение, а затем добавил в припадке дикой насмешливости: «Вот тебе и все карнавальное действо, в котором я играл брата, паделенного сердцем. Кстати, по-моему, его история очень удачно разыграна фигурками, вырезанными из дерева, по крайней мере, можно злиться, а моралисты не могут иметь ничего против, иначе бы они назвали это богохульством. К тому же все отличается какой-то истинной возвышенной произвольностью, как это и бывает в первоначальных обстоятельствах, хотя мы, недалекие людишки, предпочли бы обусловленность в мелочах, а наш кукольник, напротив, пренебрегает ею и никому не дает отчета, почему не вычеркивает он из своего карнавального действия явно неудавшихся ролей, вроде моей, например. О, сколько поколений миповало с тех пор, как я вознамерился выпрыгнуть из пьесы, ускользнуть от кукольника, однако он меня не отпускает, как я ни хитрю. Сквернее всего скука, все более одолевающая меня, ибо тебе следует знать, что я состою в актерах уже много столетий и принадлежу к неиз-

менному набору итальянских масок, которые не сходят со сцены.

Я перепробовал все способы. Сначала я являлся с повинной в суд и признавался в том, что я великий злодей и трижды убийца; они начинали следствие и выносили приговор: меня нельзя казнить, так как защита доказала, что я никому не поручал в ясных и отчетливых словах совершить убийство, и его можно приписать мне разве что как духовное действие, а за таковые *Forum externum* не карает. Я клял моего защитника, и это приводило лишь к жалкому процессу об оскорблении личности, после чего меня выпускали на свободу.

Я поступал на военную службу и участвовал во всех битвах, но судьба не начертала моего имени ни на одной пуле; смерть обнимала меня на своем великом поприще среди тысяч умирающих и разрывала свой лавровый венок, чтобы разделить его со мною. Я даже получал блестящую роль героя в ненавистной драме и со скрежетом зубовным проклинал свое бессмертие, преграждавшее мне путь, куда бы я ни бросился.

Тысячу раз я подносил к губам кубок с ядом, и тысячу раз он выпадал из моей руки прежде, чем я успевал осушить его. Всякий раз в полночь я выступаю, как механическая фигура на циферблате, из моего тайного обиталища, чтобы нанести себе смертельный удар, но часы смолкают, и как та же механическая фигура, я возвраща-

юсь восвояси, чтобы появляться и уходить до бесконечности. О, пайти бы мне сам этот вечно скрипящий механизм времени и ввергнуться бы в него, чтобы разрушился либо он, либо я. Мучительная потребность осуществить это намерение часто доводит меня до отчаянья; я как в бреде измышляю разные возможности такого осуществления, потом заглядываю в глубь самого себя, как в неизмеримую бездну, где время глухо шумит, подобно неиссякаемому подземному потоку, и тогда из мрачной глубины доносится одно только слово: вечно, и я в ужасе отшатываюсь, но не могу убежать от самого себя».

Человек замолчал, и во мне возникло жгучее желание дать собственной рукою благодетельный опиум несчастному, измученному бессонницей, даровать ему долгий сладкий сон, которого напрасно жаждет его воспаленное сверхбдительное око. Но я опасался, не рассеется ли его безумие в решающее мгновение и не возлюбит ли он снова жизнь именно за то, что она проходит. О, человек создан из этого противоречия; он любит жизнь из-за смерти и возненавидел бы жизнь, если бы исчезло то, чего он страшится. Итак, я не мог ничего для него сделать, предоставив его собственному безумию и собственной судьбе.



ПЯТОЕ БДЕНИЕ

Предыдущее ночное бдение длилось долго, следствием чего оказалась бессонница, подобная вышеописанной, и в свете ясного прозаического дня, обычно превращаемого мною в ночь на испанский манер, мне пришлось бодрствовать, то есть скучать среди мещанской жизни, которая есть не что иное, как спячка наяву.

Тут не оставалось мне ничего лучшего, кроме как перевести поэтический бред моей ночи на язык ясной скучной прозы, и я перенес на бумагу жизнь моего безумца, придав ей разумную обусловленность, чтобы такая публикация развлекала и услаждала разумных дневных сомнамбул. В сущности, это был для меня лишь способ изнурить себя, и я хотел бы перечитать это ночное бдение, чтобы избежать вторичного соприкосновения с прозой и ясным днем.

Итак, вполне отчетливо и понятно излагается следующее:

«Отчизной дон Хуана была жаркая, знойная Испания, где деревья и люди разрастаются гораздо пышнее и вся жизнь приобретает огненный колорит. Один дон Хуан казался северным утесом, перенесенным в царство этой вечной весны; он стоял, холодный и недвижимый, и лишь время от времени земля содрогалась у его подножия, пугая окружающих, на которых его близость нагоняла жуть.

Его брат доп Понсе, напротив, был нежен, как девушка, и его слова расцветали, оплетая жизнь, и она улодоблялась для него саду, занавешенному зеленью, где он гулял. Все любили его; нельзя сказать, что Хуан его ненавидел, но его манера выражаться была Хуану не по душе, так как Понсе не мог принять спокойного величия, преуменьшая все напыщенным украшательством, вынужденный всюду подрисовывать свои пестрые завитушки, подобно плохим поэтам, пытающимся снабдить роскошное изобилие природы добавочными красотами вместо того, чтобы собственными силами создать новую самобытную природу.

Они жили в совместном безучастии и походили на двух мертвецов, окоченевших на горе Бернарда, так что одна грудь прижата к другой; такой холод царил у них в сердцах, где не было ни ненависти, ни любви; лишь Понсе носил на лице маску любящего, на которой застыла улыбка, и расточал множество дружелюбных слов, лишенных творческой твердости и незамысловатой сердечности. Хуан отвечал на это большей замкнутостью и неприступностью; суровый Север враждебно овеивал нежный Юг, заставляя быстро облетать жеманные цветы.

Взаимное равнодушие родственных сердец как бы разгневало судьбу, и она лукаво подбросила им ненависть и возмущение, чтобы они, пренебрегшие любовью, сблизились хотя бы как яростные враги.

Однажды в Севилье дон Хуан безучастно наблюдал бой быков. Его взор отвлекался от амфитеатра, где один выше другого располагались ряды зрителей, и предпочитал оживленному множеству лиц пестрые причудливые узоры, вышитые ковры, покрывавшие балюстраду. Наконец, его внимание приковала единственная еще пустая ложа, и он механически устроился в нее, как будто именно там должен подняться для него занавес истинного зрелища. Немало времени прошло перед тем, как появилась высокая женская фигура, вся в черном, и красавец паж, раскрывший над нею зонтик, чтобы защитить от солнца. Она продолжала стоять неподвижно на своем месте, и столь же неподвижно стоял напротив нее Хуан, как будто за этими покровами таилась загадка его жизни, и тем более боялся он мгновения, когда эти покровы спадут, словно за ними возникнет кровавый призрак Банко¹⁷.

Наконец, этот миг настал, и белой лилией расцвел чарующий женский образ, торжествуя над своим одеянием; ее ланиты казались безжизненными, а едва окрашенные уста были сомкнуты безмолвием, и она напоминала скорее знаменательный образ чудного сверхчеловеческого существа, чем земную женщину.

Хуан почувствовал одновременно ужас и пылкую неистовую любовь; смятение воцарилось в глубине его души, но из его уст ничего не вырвалось, кроме громкого крика.

Незнакомка быстро и пристально глянула на него, опустила в то же мгновение покрывало и скрылась.

Хуан поспешил за ней, но не нашел ее. Он пересек Севилью — тщетно; страх и любовь гнали его прочь и снова влекли назад, однако в отдельные быстро проносящиеся секунды мгновение, когда он встретит ее, представлялось ему столь же ужасным, сколь и желанным; он силился задержать это предчувствие, чтобы осмыслить его, но оно всякий раз проносилось, как мимолетная ночная греза, и, опомнившись, он видел прежний мрак, свидетельствующий о том, что в его памяти все померкло.

Трижды проехал он через Испанию, не встретив бледного лица, всматривавшегося, казалось, в его жизнь смертельным и любящим взором; наконец, неодолимая тоска по родным местам заставила его вернуться в Севилью, и первый, кто ему встретился, был Понсе.

Оба брата как бы испугались друг друга, ибо оба стали друг другу чужими до загадочности. Твердость Хуана исчезла, и он пламенел, как вулкан, сквозь тысячелетние пласты которого вдруг прорвалось на воздух внутреннее пламя, но его близость казалась еще опаснее. Напротив, прежняя нежность Понсе превратилась в сдержанность, и он стоял, холодный, рядом со своим пламенеющим братом; вся мишура спала с его жизни, и он уподобился дереву, лишившемуся своего преходящего весеннего убо-

ра, чтобы простирать в воздух свои цепенеющие, перепутанные ветки. Так молния поджигает лес, и он горит, освещая горизонт на тысячу ночей, но проскользнув над степью, та же молния сжигает лишь редкие засохшие цветы, от которых не остается следа.

С холодной вежливостью пригласил Понсе дона Хуана к себе, чтобы представить ему свою супругу. Хуан механически последовал за ним. Было как раз время спесты; братья вошли в павильон, густо оплетенный виноградом; там на мраморной плите покоился тот самый бледный образ, недвижимый, в дремоте, подле каменного геня смерти, чей опрокинутый факел касался ее груди. Хуан остолбенел, цепенея: мрачное предчувствие поднялось в его душе и не исчезало более, обретая зловещую отчетливость, как внезапно разгаданная загадка Эдипа. Тогда сознание покинуло его, и он в беспомощности по-ник на камень.

Он очнулся в одиночестве; лишь безмолвный строгий юноша остался около него. Охваченный внутренней бурей и возмущением, Хуан кинулся прочь.

И весь мир вокруг него изменился, обретая пные формы; прежнее время как бы возродилось, прервался глубокий сон седой судьбы, и она снова властвовала над небом и над землей. Его, как Ореста, преследовала некая фурия и, коварная, часто приподнимала змей, то есть свои волосы, являя ему прекрасный лик.

Понсе должен был надолго покинуть Севилью, и дон Хуан покинул свое уединенное убежище, крадучись, как преступник, боящийся дневного света. В душе он уже принял твердое решение, однако боялся остаться наедине с самим собой, чтобы не отдавать себе отчета в задуманном. Так, ни в чем себе не признаваясь, он посетил имение Понсе и вошел в комнату донны Инесы; она сразу его узнала, и белая роза впервые расцвела пламенным багрянцем, и любовь оживила чудесное, по дотоле холодное создание Пигмалиона. Вечернее солнце светило сквозь листву и цветы, и по-детски невинно подставила Инеса пурпур своих ланит небесному огню, осиявшему их, потом, вся затрепетав, схватила арфу и, пока флейта Хуана вторила ее игре, шел запретный разговор без слов, когда звуки признавались в любви, отвечая друг другу взаимностью. Так продолжалось, пока Хуан не осмелел, не пренебрег таинственными пероглифами и не выдал свой обольстительный сокровенный грех ясной речью. Тогда рассеялся сумрак перед невинной, словно лишь теперь в сиянии враждебного светоча она распознала все вокруг себя и впервые, содрогаясь в ужасе, произнесла слово «Брат!».

В это мгновение зашло солнце, и лик, только что окрашенный пылом, побледнел, как прежде.

Хуан замолчал; Инеса позволила, и тот самый паж, прекрасный, как бог любви, вошел в комнату. Хуан удалился, не сказав ни слова.

В лесу было уже совсем темно; он шагал, ни о чем не думая; вдруг прямо перед ним предстал дон Понсе, и Хуан, быстро обнажив кинжал, нанес яростный удар, тут же опаматовавшись: кинжал торчал, глубоко воткнувшись в ствол дерева; лишь его фантазия совершила братоубийство.

Наконец, вернулся Понсе, но Инеса не поведала ему о том, что было, затаив глубоко в груди свою любовь и опрометчивость. Хуан возненавидел день и жил теперь только ночью, так как в нем, страдая светобоязнью, назревало нечто опасное. Когда темнело, он неизменно покидал свое обиталище, направлялся в имение Понсе и всматривался в окна Инесы, но едва начинал брезжить рассвет, он скрывался в диком озлоблении. Однажды он видел Инесу и пажу при дневном свете, и его фантазия сочинила сказку, будто Инеса отвергла его ради юноши, чтобы лишь тому втайне посвятить сладостные часы ночи; тогда в неистовой ревности он поклялся убить красавца мальчика, воспользовавшись для этого первой же возможностью. Свет в ее комнате не гас; Хуану мерещился паж рядом с нею, и Хуан ждал до полуночи, дрожа от любви и бешенства, а потом, не владея уже собою, подкрался, полубезумный, к двери дома и нашел ее лишь притворенной. Ступая зыбкими, неверными шагами, он шел по дому, пока не добрался до комнаты Инесы — стремительный рывок, и комната открылась.

Она лежала, бледная, как в саркофаге; ночное одеяло обвивало ее лишь слегка; она дремала, а струны все еще льнули к ее груди и с ними переплетались гирлянды темных локонов. Имя брата невольно вырвалось из уст Хуана; ему почудилось, что в спящей он узнаёт фурию, стоящую между ними, а локоны, обрамлявшие прекрасный лик, как будто превратились в змей. Но вновь перед ним была его возлюбленная, и он поник вне себя к ее ногам, прижав горячие уста к ее груди. Она испуганно отшатнулась, узнав его при свете ночника, оттолкнула его с порывистой силой, и во взоре ее изобразилось отвращение и ужас.

Этот единственный взор сокрушил его, но злой демон поднялся в нем быстро, и он ринулся прочь, не соображая, что намеревается сделать; на душе у него лежал темный кровавый замысел.

Разбуженный шумом, еще опьяненный сном, паж вышел, пошатываясь, из своей комнаты в зал, и Хуан набросился на него, торопливо сказав: «Твоя госпожа тебя требует, она хочет идти к ранней мессе». Паж протирал себе глаза, а Хуан следил за ним, пока он не скрылся в комнате Инесы. Судьба коварно предуготовила катастрофу; дон Хуан отыскал спальню брата, вырвал его из объятий первого сна и прокричал, что жена неверна ему. Инесе, вскочив, потребовал объяснений, однако Хуан резко потащил его за собой, сунув ему по дороге в руку свой кинжал; затем он втолкнул его в комнату.

Мертвая тишина воцарилась вокруг дона Хуана; в жутком одиночестве стоял он, погруженный в почву, и в смутном страхе, стуча зубами, искал только что отданное оружие. Тут послышался шум, и дверь как бы сама собою слетела с петель.

Ужасающая ночная картина осветилась. Красавец мальчик лежал уже на полу, навеки скованный сном смерти, а из груди Инесы струился пурпурно-красный поток, как бы усеивая розами ее снежно-белое покрывало.

Хуан застыл, как статуя; Инеса в упор взглянула на него, но сомкнутыми остались ее бледные губы, не выдав ничего; потом глубокий сон мягко смежил ей очи.

Когда она умерла, Понсе очнулся и как бы впервые полюбил, утратив свою возлюбленную, и ощутил в себе любящее сердце, чтобы пронзить его. Так в тишине он снова сочетался браком с Инесой.

Дон Хуан стоял, безмолвный и безумный, среди мертвецов».



ШЕСТОЕ БДЕНИЕ

Чего бы не дал я за искусство повествовать связно и бесхитростно, подобно другим почтенным протестантским поэтам и хронистам, которые возвеличились и прослави-

лись, обменивая свои золотые идеп на действительное золото. Что поделаешь, мне этого не дано, и даже короткая простенькая история одного убийства, стоившая мне такого пота и усилий, вышла достаточно пестрой и причудливой.

Я, к сожалению, был испорчен уже в юности, вернее, чуть ли не во чреве материнском, ибо, если другие прилежные мальчики и многообещающие юноши стараются с возрастом умнеть и просвещаться, я, напротив, питал особое пристрастие к безумию и стремился довести себя до абсолютной путаницы именно для того, чтобы, подобно Господу Богу нашему, сперва довершить добротный полный хаос, из которого при случае, коли мне заблагорассудится, мог бы образоваться сносный мир. Да, мне представляется даже порою в головокружительные мгновения, будто род человеческий не преминул испортить самый хаос, наводя порядок чересчур поспешно, и поэтому ничто в мире не находит себе настоящего места, так что Творцу придется по возможности скорее перечеркнуть и уничтожить мир как неудавшуюся систему.

Ах, эта навязчивая идея причинила мне изрядный ущерб и едва не отняла у меня мою должность ночного сторожа, когда мне в последний час уходящего столетия вздумалось разыграть Страшный суд и вместо времени возвестить вечность, вследствие чего многие духовные и светские господа скатились в ужасе со своих пуховиков и совсем

растерялись, не будучи подготовленными к такой неожиданности.

Достаточно комичной получилась шумная сцена мнимого Страшного суда, при которой в роли спокойного зрителя выступил я один, а всем остальным пришлось послужить мне страстными актерами. О, надо было видеть, какой поднялся переполох и какая сумятица среди несчастных детей человеческих, как пугливо сбежалась аристократия, и перед лицом Господа Бога стараясь не нарушать иерархии; некоторые судейские и прочие волки лезли из кожи вон, отчаянно пытаясь напоследок превратиться в овец, назначали высокие пенсии вдовам и сиротам, тут же мечущимся в жгучем страхе, во всеуслышанье отменяли несправедливые приговоры, обязуясь тотчас же, по исходе Страшного суда, возратить награбленные суммы, которые они вымогали, так что не один бедняга вынужден был просить подавания. Иные кровососы и вампиры признавали сами себя достойными виселицы и плахи, требуя, чтобы приговор был возможно скорее приведен в исполнение в здешней юдоли, лишь бы предотвратить кару горней десницы. Самый гордый человек в государстве впервые стоял смиренно и почти раболепно с короной в руке, готовый любезно уступить первенство какому-то оборванцу, так как ему мерещилось уже наступающее всеобщее равенство.

От своих должностей отрекались; бессчетные обладатели наград сами срывали орден-

ские ленты и отбрасывали знаки отличия; пастыри душ торжественно обещали впредь наставлять свою паству не только благими речами, но и благим примером, если Господь Бог ограничится на сей раз увещанием.

О, когда бы я мог описать, как народ на сцене сбегался, разбегался, молился в страхе, проклинал, вошил, выл, и все приглашенные трубным гласом на этот великий бал роняли со своих лиц личины, так что в нищенских отрепьях обнаруживались короли, в рыцарских доспехах заморыши, и почти всегда выявлялась разительная противоположность между платьем и человеком.

К моей вящей радости они в своем чрезмерном страхе долго не замечали, что небесная юстиция мешкает, и весь город успел разоблачить свои добродетели и пороки и совсем обнажиться передо мною, своим последним согражданином. Гениально пошутил только один юный насмешник, прежде уже решивший со скуки не переселяться в грядущее и застрелившийся теперь, в последний час прошлого, чтобы на опыте убедиться, можно ли еще умереть в это неопределенное мгновение между смертью и воскресением, не перетаскивая с собой в жизнь вечную всю непомерную скуку этой жизни.

Впрочем, кроме меня, еще один человек остался невозмутимым, а именно городской поэт, с высоты своего чердака упорно взиравший в окошко на эту картину в духе Микеланджело, словно бы намереваясь и само светопреставление воспринять поэтически.

Некий астроном неподалеку от меня приметил наконец, что великий *actus solennis*¹⁸ несколько затянулся и что огненный меч на севере похож скорее на северное сияние, чем на меч суда. В этот решающий момент, когда некоторые разбойники уже готовы были снова поднять головы, я счел за благо продлить их сокрушение хотя бы на время краткой наставительной речи и начал так:

«Дорогие сограждане!

Астронома нельзя признать в данном случае компетентным судьей, поскольку важнейший феномен, имеющий, кажется, теперь место над нами в небесах, никоим образом не может быть причислен к незначительным кометам и появляется только однажды во всемирной истории; нашим торжественным настроением не стоит поэтому легкомысленно пренебрегать; наше положение таково, что целесообразнее серьезно задуматься над ним.

Не проще ли всего в день Страшного суда оглянуться на нашу зыбкую планету, обреченную согнуться со всеми своими парадизами и тюрьмами, со всеми своими сумасшедшими домами и республиками ученых; попробуем в этот последний час, когда нами завершается всемирная история, бросить хотя бы беглый общий взгляд на то, что мы затевали и творили на этом земном шаре с тех пор, как он вознесся из хаоса. После Адама минул длинный ряд годов, если даже не принимать китайского летосчисления за более точное,— что мы создали за это вре-

мя? Я утверждаю: равным счетом ничего.

Не смотрите на меня с таким недоумением: сегодня кичиться не пристало, необходимо хоть напоследок с подобающей скромностью хоть немного заняться собой.

Скажите мне, с каким выражением лица намерены вы предстать перед Господом Богом нашим, вы, братья мои, властители, откупщики, военные, убийцы, капиталисты, воры, чиповники, юристы, философы, теологи и все прочие, невзирая на должность и ремесло, ибо в нынешнем всеобщем национальном собрании обязан участвовать каждый, хотя я замечаю, что многие из вас предпочли бы вскочить на ноги и пуститься наутек.

Воздайте должное истине, создано ли вами хоть что-нибудь стоящее? Например, вы, философы, разве вы до сих пор сказали что-нибудь существеннее того, что вам нечего сказать? Вот подлиннейший, очевиднейший итог всего предшествующего философствования! Вы, ученые, добились ли вы всей вашей ученостью чего-нибудь другого, кроме разложения и улетучивания человеческого духа, чтобы в конце концов с простодушной важностью держаться оставшегося *carpe mortuum*¹⁹. Вы, теологи, с таким пылом выдававшие себя за божьих придворных, заискивая и виляя хвостом перед Всевышним, вы устроили здесь на земле настоящий разбойничий вертеп: вместо того чтобы объединять людей, разметали их по сектам, а прекрасное всеобщее братство и единую

семью павсегда разбили на злобствующие клики. Вы, юристы, вы, межеумки, вам следовало бы, в сущности, остаться заодно с теологами, от которых вы отпали в некий проклятый час, чтобы вы казнили тело, а теологи — дух. Ах, лишь на лобном месте вы, родные души, протягиваете друг другу руки перед несчастным приговоренным грешником, и духовный палач с достоинством сопутствует палачу светскому.

Что мне сказать о вас, государственные деятели, сводившие человеческую природу к механическим принципам? Оправдаетесь ли вы перед небесной ревизией своими заповедями и как намерены вы теперь, когда мы готовимся вступить в царство духов, расставить опустошенные вами человеческие образы, чью выпотрошенную оболочку вы умели использовать, умертвив предварительно дух? О, что только не тяготит исполинов, стоящих особняком, князей и властителей, расплачивающихся людьми, как монетами, и ведущими постыдную работоторговлю со смертью? О, вот от чего я расвирепел и разъярился, и теперь, когда передо мной пресмыкается земное отродье со всеми своими заслугами и добродетелями, пока идет всемирный суд, стать бы мне дьяволом на часок, чтобы обратиться к вам с речью, еще более уничтожающей!

Торжественное действо, как видно, все еще затягивается, и у вас еще есть время раскаяться, молитесь же и войте, лицемеры, как вы это делаете перед смертью, когда вам уже

нельзя исправить вашу исковерканную жизнь и невозможно долее грешить.

Позади вас лежит всемирная история, подобная нелепому роману, в котором встречается несколько порядочных персонажей и великое множество жалких. Ах, ваш Господь Бог допустил оплошность: не обработав сам этого романа, он позволил вам писать его. Сам посудите: стоит ли ему переводить вашу пачкотню на высший язык и не разорвет ли он ее в клочья, убедившись в полной вашей бездарности и предав забвению вас вместе со всеми вашими планами. Я не предвижу другого исхода, ибо все вы, здесь присутствующие, можете ли вы претендовать на доступ в рай или на доступ в ад? Для царства небесного вы слишком порочны, для преисподней слишком нудны.

Судебная процедура все еще продолжается, но я не советую вам успокаиваться: соберитесь лучше с мыслями и, пока под вами не провалилась почва, усовершенствуйтесь хоть мало-мальски в похвальном самоуничтожении. Пора мне высказать неопровержимые аргументы: Господь Бог пощадил бы Содом и Гоморру ради одного праведника, однако хватит ли у вас дерзости заключить на этом основании, будто Он ради нескольких умеренно благочестивых приютит всех лицемеров, населяющих шар земной? Пускай кто-нибудь из вас внесет хоть одно разумное предложение, куда деть вас. Уже покойный Кант вам доказал, что пространство и время — лишь формы чувственного созерцания;

теперь вы знаете, что в мире духовном нет ни пространства, ни времени; вот я теперь и спрошу вас, чье житье-бытье погрязло в сплошной чувственности, где хотите вы найти пространство, когда пространства больше нет? Да, какие новые начинания остались для вас, когда наступает конец времени? Даже когда речь идет о ваших величайших мыслителях и поэтах, бессмертие следует понимать в переносном смысле, что же значит оно для вас, бедняги, если за вами не числится никаких дел, кроме торговых, если вам не ведом никакой дух, кроме винного духа, аналогичного вдохновению для ваших поэтов. Пусть кто угодно даст хоть какой-нибудь путный совет; я, черт возьми, не знаю, куда мне с вами деваться!»

Тут я заметил беспокойство среди собравшихся передо мной и услышал довольно отчетливо, как некоторые молодые адепты свободомыслия (свободомыслие в наши дни — синоним недомыслия) пагло утверждают, будто все это ложная тревога. Один из собравшихся уже снова возложил на себя корону, и первый советник, только что сам себя разоблачавший, озлобленно заявил: мол, нужны строгие меры против тех, кто разыграл комедию с целым почтенным городом, и первым зачинщиком следует считать меня.

Тут я стушевался, смиренно попросил, обратившись к человеку в короне, послушать меня еще минутку и добавил следующее: «Пускай подобное приглашение на суд оказалось ложной тревогой, оно может принести

известную пользу; и даже было бы желательно — с помощью физических экспериментов и нескольких центнеров плауниного порошка, чтобы сверкало со всех башен и возвышений, — регулярно устраивать в государственных интересах такую вот сумятицу, дабы коронованная особа, отнюдь не всеведущая, могла бы таким образом время от времени проводить всеобщую государственную ревизию и видеть *in puris naturabilis*²⁰ со всеми его недугами само государство, обычно выступающее при параде, разукрашенное штатными костюмерами и гримерами, ласкателями и советниками. Как зачинатель этого государственного эксперимента я даже просил бы выдать мне патент на мое изобретение, чтобы побочные доходы от этого много Судного дня, например, благословения стольких бедняг, снова всплывших на поверхность, проклятия испровергнутых святых и прочее поступали на мой счет».

Мертвая тишина вокруг ободрила меня, и я отважился присовокупить, что сегодня, затрубив, как будто начался пожар, я сам устроил подобную ревизию и не откажусь прямо сейчас произвести известный ремонт, выправив поколебленное здание государства отдельными смещениями с должностей, казнями и так далее.

Никто не сказал ни слова, пока я не высказался, и коронованный муж поправлял у себя на макушке корону словно бы в перешителюности; в результате, однако, мое изобретение было отвергнуто как неприемлемое,

а меня самого лишь по высочайшей милости согласились признать дурачком и не смещать покуда с моей должности.

Чтобы, однако, подобная тревога больше не повторялась, особым указом были введены изобретенные Самуэлем Дэем watchman's postuaries²¹, так что поющий и трубящий ночной сторож превратился в немого*, — решение, обоснованное тем, что мой клич и ночной рог предупреждают ночных воров о моем приближении и должны быть упразднены как нецелесообразные.

Воры дневные раз и навсегда избавились от моего надзора, и я брожу теперь, немой и печальный, по безлюдным улицам, каждый час втыкая мою карточку в ночные часы. О, насколько же крепче стал с тех пор сон, если кое-кто, при всех своих тайных грехах боявшийся разве что Страшного суда, лежит на своих подушках спокойно и непоколебимо теперь, когда моя труба разбита.



* Эти ночные часы так устроены, что ночной сторож подтверждает регулярность своего обхода, втыкая записку в отверстие, невидимую до определенного часа. Утром полицейский офицер открывает часы, чтобы проверить, в каждом ли отверстии находится записка.

СЕДЬМОЕ БДЕНИЕ

Я заговорил о моих безумствах, но худшее из них — моя жизнь, и в эту ночь, когда мне больше нельзя трубить и петь, что скрашивало прежде мое времяпрепровождение, я намерен продолжить ее воссоздание.

Я частенько собирался, сидя перед зеркалом моего воображения, написать свой спосный автопортрет, но, вторгаясь в эти проклятые черты, находил в конце концов, что они подобны загадочной картинке, изображающей с трех разных точек зрения грацию, мартышку и к тому же дьявола en face. Так я запутывал самого себя, вынужденный гипотетически заподозрить основу моего бытия в том, что сам дьявол проскользнул в постель только что канонизированной святой и наметил меня, как *lex cruciata*²² для Господа Бога, дабы Тому было пад чем ломать себе голову в день Страшного суда.

Проклятое противоречие заходит во мне так далеко, что сам папа не был бы благочестивее на молитве, чем я при богохульстве, и, напротив, когда я читаю благостные поучительные труды, меня так и одолевают наизлобнейшие помыслы. Если другие разумные и чувствительные люди отправляются на лоно природы, чтобы там воздвигнуть кущи, поэтические или библейские, достойные горы Фавор²³, то я предпочитаю приносить с собой отборные, прочные строительные материалы для всеобщего сумасшедшего дома, куда я не прочь занереть прозаиков

и поэтов одного за другим. Не раз меня выгоняли из церквей за то, что я там смеялся²⁴, и из домов терпимости за то, что меня там брала охота помолиться.

Одно из двух: или люди не в своем уме, или я. Если решать этот вопрос большинством голосов, я пропал.

Будь что будет, уродлива или красива моя физиономия, попробую-ка я часок пописать ее. Вряд ли я приукрашу себя; ведь я пишу ночью, так что красками не блеснешь и поневоле ограничиваешься резкими тенями да мазками с нажимом.

Кое-какую репутацию создали мне летучие поэтические листки, выпущенные мною из мастерской моего сапожника; первый содержал надгробную речь, написанную мною, когда у того родился мальчик, правда, я помню только начало, звучавшее примерно так:

«Его обряжают для первого гроба, пока не готов еще второй, в котором похоронят его деяния и его глупости; так приято укладывать государей сначала во временный гроб, а потом вносить в склеп гроб оловянный, подобающе украшенный трофеями и надписями, чтобы труп удостоился вторичного захоронения. Прошу вас, не доверяйте мнимому отблеску жизни и розам на щечках младенца, это искусство природы, которая, подобно заправскому врачу, придает на некоторое время приятную видимость пабальзамированному телу; в его внутренностях уже таится точущее тление, и стоит

вам вскрыть их, вы увидите там развивающиеся зародыши червей, удовольствие и боль, протачивающиеся так нетерпеливо, что труп распадается в прах. Увы! он жил только до рождения; так, счастье — это лишь надежда, не более; стоит надежде осуществиться, и оно разрушается само собою. Пока еще он красуется на парадном ложе, по цветы, которыми вы его осыпаете, не что иное, как осенние цветы для его савапа. Вдали уже готовятся к выносу гроба со всеми его радостями и с ним самим, а земля всегда тут как тут со своим склепом для него. Отовсюду жадно протягивают к нему руки лишь смерть и тление, постепенно пожирая его, чтобы, убив его, отдохнуть на пустом склепе, когда наконец развеются его скорби, его наслаждения, воспоминания о нем и самый прах его. Его останками давно распорядилась природа, расточающая их, чтобы выращивать новые цветы для погребения новых умирающих».

Остальную речь я забыл. Полагали, что в целом она не дурна, разве что неправильно озаглавлена, поскольку следовало бы писать не «День рождения», а «День смерти», но так или иначе речь потом находила применение на детских похоропах.

Начинающему автору приходится бороться с великими трудностями, так как ему нужно приобретать известность своими произведениями; напротив, автор, уже выступивший и однажды списавший аплодисменты, одним своим именем прославляет свои

произведения, и людей не убедить в том, что у великих поэтов и великих героев бывают часы, когда обнаруживаются их произведения и деяния, которые хуже наихудшего даже в пределах, доступных зауряднейшим сынам земли. Высота всегда неразлучна с низостью, и, наоборот, лишь на плоской поверхности можно не бояться падения.

Мне же порядком везло, и я тачал рифмы быстрее, чем башмаки, так что наша мастерская смогла восстановить старую вывеску Ганса Сакса, сливая воедино два искусства, столь важные для государства. К тому же за стихотворение мне платили едва ли не больше, чем за башмак, и посему старый мастер без раздражения допускал беспутное ремесло наряду со своим хлебным промыслом, позволяя моему дельфийскому треножнику соседствовать со своим общеупотребительным.

Кстати, я усматриваю мудрость Провидения в том, что деятельность многих ограничена тесным убогим кругом, а сами они заперты в четырех стенах, где в затхлом темничном воздухе их свет едва вспыхивает, безвредный и тусклый, в лучшем случае свидетельствуя о своем пребывании в темнице, тогда как на воле он возгорелся бы вулканом, чтобы обречь пожару все окружающее. И мой огонек, действительно, начал уже искриться и поблескивать, являя, впрочем, разве что поэтические трассирующие пули, предназначенные для рекогносцировки, а отнюдь не бомбы, грозящие опусто-

шительными взрывами. Меня часто охватывал гнетущий страх, словно я великан, который в младенчестве был замурован в каморке с низким потолком; великан растёт, ему хочется потянуться и выпрямиться, но такой возможности у него нет, и остается лишь терпеть, как у него выдавливается мозг, или превращаться в скрюченного уродца.

Люди такого пошиба, прорвись они наверх, не отличались бы мирным нравом, буйствовали бы в народе, как чума, землетрясение или гроза, и стерли бы в порошок или испепелили бы изрядный участок нашей планеты. Однако эти сыны Енаковы²⁵ занимают обычно достойное положение, и над ними, как над титанами, громоздятся горы, которые можно разве что сотрясать в бессильном гневе. Там постепенно обугливается их топливо, и лишь крайне редко удается им отвести душу, яростно метнуть из вулкана свой пламень в небо.

Правда, мне достаточно было простых фейерверков, чтобы возмущать народ, и неприязнительная сатирическая речь осла на тему: зачем вообще нужны осла — наделала чрезмерного шуму. Видит Бог, я не питал при этом особенно злобных помыслов и никого не затрагивал в частности, однако сатира подобна пробному камню: ни один металл не проскользнет мимо, не засвидетельствовав, стоит он чего-нибудь или ничего не стоит; именно так и произошло — листок прочитал некто и всё без исключения принял на свой счет, за что меня без дальней-

ших церемоний упрятали в тюрьму, где на досуге усплявалось мое неистовство. Между прочим, в своем человеконепавистничестве я не уступал государям, склонным облагодетельствовать отдельные особи, чтобы истреблять остальных во множестве.

Наконец, меня освободили, когда некому стало содержать меня, так как умер мой старший сапожник, и я оказался один в мире, как будто свалился на землю с чужой планеты. Теперь я отчетливо видел: человек ничего не значит как человек, и нет у него на земле никакой собственности, кроме купленной или завоеванной. О, как бесполезна была мне та нищета, бродяги и прочие несчастные недотепы, вроде меня, позволили отнять у себя кулачное право, предоставленное лишь государям, как еще одна прерогатива, а те не знают удержку в его употреблении; поистине тщетно искал я хотя бы клочок земли, где можно было бы преклонить голову, до такой степени они присвоили и раздробили каждую пядь, не желая знать естественного права, хотя оно одно всеобщее и положительное, а вместо него вводя в каждом уголке свое особое право и особую веру; в Спарте они превозносили вора, понаторевшего в кражах, а в Афинах такового вешали.

Между тем я вынужден был найти себе занятие, чтобы не умереть с голоду, так как они захватили все вольные общины уголья природы, включая птиц в небе и рыб в воде, и не уступали мне ни одного зернышка без полновесной оплаты палочными. Недолго ду-

мая, я выбрал промысел, состоящий в том, чтобы воспевать их со всеми их начинаниями; я стал рапсодом наподобие слепого Гомера, который тоже подвизался в роли бродячего уличного певца.

Кровь они любят сверх всякой меры и, даже если не проливают ее сами, глядели бы и век бы не пагледелись, как она проливается на картинах и в стихах, в самой жизни, а предпочтительно в грандиозных батальных сценах. Поэтому я шел для них про убийства, чем и пробавлялся; я начал даже причислять себя к полезным гражданам государства, полагая, что я не хуже фехтовальщиков, оружейников, производителей пороха, военных министров, врачей и всех других откровенных пособников смерти; признаюсь, я высоко возомнил о себе, дескать, я закаляю моих слушателей и учеников и, по мере сил, приучаю их не бояться крови.

Со временем, однако, мне надоели убийства в миниатюре, и я отважился на большее, на повествования о душах, загубленных церковью и государством (добротные сюжеты такого рода поставляла мне история); кое-когда присовокуплял и маленькие забавные эпизоды, облегченные убийства, как, например, убийство чести коварством благожелательной молвы, убийство любви холодными, бессердечными молодчиками, убийство верности мнимыми друзьями, убийство справедливости судом, убийство здравого смысла цензурными уложениями и т. д. На этом все и кончилось: против меня было

возбуждено более пятидесяти процессов об оскорблении. Я выступал перед судом как свой собственный *advocatus diaboli*²⁶; передо мной вокруг стола восседало полдюжины ряженных, носивших личины справедливости, чтобы скрыть свою истинную плутовскую физиономию и вторую хогартовскую половину лица. Они владеют искусством Рубенса, превращавшего одним мазком смеющееся лицо в плачущее, и применяют его к самим себе, стоят им расположиться на своих седалищах, чтобы таковых не приняли за скамьи несчастных подсудимых. Строго предупрежденный о том, что я должен говорить одну только правду по поводу предъявленных мне обвинений, я начал так:

«Многомудрые! Я стою здесь перед вами как обвиняемый в оскорблении; все *согога delicti*²⁷ подкрепляют обвинение, и я твердо намерен причислить к ним вас самих, поскольку не только предметы, позволяющие установить факт определенного преступления, как, например, ломы, воровские лестницы и т. п., можно назвать *согога delicti*, но и сами тела, в которых обитает преступление. Однако было бы не худо, если бы вы не только исследовали преступления как искушенные теоретики, но и научились бы совершать их как прилежные практики, принимая во внимание то, что иные поэты жалуются уже на своих рецензентов, не способных сочинить завалящего стишка и все-таки осмеливающихся судить их стихи; да и как вы оправдаетесь, многомудрые, когда,

согласно аналогии, некий вор, прелюбодей или какой-нибудь другой негодяй из этой сволочи, которую вы склонны судить, предложит вам разгрызть подобный орешек и не сочтет вас рецензентами, компетентными в своем ремесле, так как вы не зарекомендовали себя in praxi²⁸.

Законы как будто в самом деле намекают на это и освобождают вас как судебных во многих случаях от обвинения в преступлениях, так что вам разрешается безнаказанно душиить, разить вокруг себя мечом, оглушать дубинами, сжигать, топить в мешках, погребать заживо, четвертовать и пытаться, а ведь все это настоящие злодеяния, которые не сошли бы с рук никому, кроме вас. И при меньших проступках, а именно в случае, заставившем представить меня перед вами здесь в качестве обвиняемого, законы оправдывают вас; так параграфы 1 и 2 закона 13 об оскорблениях не запрещают вам оскорблять тех, кого вы сами завлекли в судебные тенета по обвинению в оскорблении.

Понистине трудно себе представить все выгоды, протекающие для государства из подобного установления; сколько преступлений можно было бы раскрыть, например, если бы господа судебские, так сказать, при исполнении служебных обязанностей собственной персоной посещали дома терпимости, удовлетворяя свою похоть, чтобы уличить обвиняемых тут же без обвиняков, или воровски проникали бы в среду воров, чтобы отправлять на виселицу их товарищей, или шли бы

на прелюбодеяния, чтобы выявлять кое-когда прелюбодеек и тех, кто предрасположен и питает пристрастие к подобному преступлению и потому должен рассматриваться как субъект, вредный для государства.

Праведное Небо, благодетельность этого установления так очевидна, что мне больше нечего прибавить, и я заслуживаю оправдания хотя бы за то, что выдвинул мое скромное предложение.

Мне пора перейти к моей собственной защите, многомудрые! Мне инкриминируется *iniuria oralis*²⁹, а именно, согласно подразделу *β*, пропетое оскорбление. Уже этим я мог бы обосновать ничтожность обвинения, так как певцы явно принадлежат к сословию поэтов, а поэтам, которым, по утверждению новой школы, чужда всякая тенденция, при всем желании не запретишь оскорблять и кощунствовать, сколько им угодно. Поэтов и певцов даже не следовало бы обвинять в таком преступлении, так как вдохновение приравнивается к опьянению, а опьянение освобождает пьяного от наказания без дальнейших последствий, если само опьянение не преступно, что невозможно предположить в связи с вдохновением, поскольку вдохновение — не что иное, как дар богов. А пока я хотел бы привести более убедительные аргументы в мою защиту и отсылаю вас к трудам наших превосходнейших новейших правоведов, где убедительно доказывается, что право не имеет решительно ничего общего с моралью, и лишь действие, посягающее на

внешнее право, может инкриминироваться как преступление против права. Я же лишь морально уязвлял и оскорблял и потому перед этим судом отклоняю обвинение за недостаточностью, поскольку я как лицо моральное подлежу *foro privilegiato*³⁰ мира иного.

Да, если, согласно труду Вебера об оскорблениях (раздел первый, стр. 29), лицам, отказавшимся от чести и справедливости, нельзя нанести оскорбления, то я по аналогии смею сделать вывод, что, поскольку вы как судьи и потерпевшие совершенно отреклись от морали, мне позволительно здесь при открытом судебном разбирательстве осыпать вас любыми моральными оскорблениями; ведь когда я отваживаюсь назвать вас холодными, бесчувственными, хотя многоумными и праведными господами, подобает считать это скорее апологией, нежели оскорблением, и я просто отклоняю за необоснованностью все судебные притязания, исходящие от вас».

Тут я замолчал, и все шестеро взирали некоторое время друг на друга, не вынося приговора; я спокойно ждал. Если бы они приговорили меня в наказание к дыбе, к застенку, к испанскому сапогу, к поджариванию пяток, к вырезыванию ремней из моей кожи или к рассечению моего тела, что слывет в Японии весьма почетным, я принял бы все это радостно, лишь бы не подвергаться злобе, которую выказал первый друг справедливости, председатель суда, объявивший, что меня нельзя обвинить в преступлении, так

как я отношусь к поврежденным умственно, и мой проступок надо рассматривать как следствие частичного помешательства, а по-сему меня без промедления надлежит отправить в сумасшедший дом.

Это уж слишком; дальнейшее воссоздание не под силу мне сегодня, и я хотел бы лечь и заснуть.



ВОСЬМОЕ БДЕНИЕ

Поэты — безобидный народец со своими грезами и восторгами, с небом, полным греческих богов, с которыми не растает их фантазия. Но они свирепеют, как только осмеливаются сопоставить свой идеал с действительностью, и яростно бьют ее, хотя им вообще не следовало бы к ней прикасаться. Они бы так и остались безобидными, если бы действительность выделила им свободное местечко, где бы им не докучали, принуждая суетою и столпотворением оглядываться именно на нее. Все впадает в ничтожество при сопоставлении с их идеалом, ибо он возносится за облака; сами поэты не могут постигнуть его пределов и вынуждены держаться звезд как временной границы, а кто знает, сколько звезд, невидимых доселе, чей свет еще только стремится к нам.

Городской поэт в своей чердачной клетуш-

ке также принадлежал к идеалистам, которых силой приобщили к реализму с помощью голода, кредиторов, судебных издержек и т. д., подобно Карлу Великому, загонявшему язычников мечом в реку, чтобы они крестились. Я свел знакомство с ночным вороном и, воткнув мою карточку как временное удостоверение в ночные часы, частенько забегал к нему на чердак посмотреть, как он бурлит и бушует, словно вдохновенный апостол в огненном ореоле, обличая там наверху человечество. Весь его гений сосредоточился на завершении трагедии, где выступали возвышенные таинственные образы, они же великие духи человечества, которым оно само как бы служит лишь телом и внешней оболочкой, а среди них вместо хора пробегал трагический шут, маска гротескная и жуткая. Трагический поэт железной рукою немолимо удерживал прекрасный лик жизни перед своим огромным вогнутым зеркалом, где его черты дико исказались и обнаруживались бездны в морщинах и безобразных складках, избородивших прекрасные ланиты; вот что срисовывал он.

Хорошо, что многие не понимали его: в наш век лорнетов крупнейшие предметы так отступили, что их распознают в дали только с помощью увеличительных стекол — и то неотчетливо, лелея, напротив, мелочи, так как близорукие острее видят досягаемое.

Он как раз закончил свою трагедию и надеялся, что взывал к богам недаром, и они откроются ему, по крайней мере, в виде зо-

лотого дождя, который отпугнет кредиторов, голод и судебных исполнителей. Сегодня должна была последовать санкция важнейшего цензора, издателя, и меня влекло к поэту на чердак любопытство, а также стремление узреть его на веселом пиршестве земных богов. Не грустно ли, что люди так крепко запирают свои пиршественные залы да еще ставят у дверей стражей-латников *, перед которыми пищий отступает в испуге, если ему нечем подкупить их.

Заныхавшись, я вскарабкался на высокий Олимп, но вместо одной непредвиденной трагедии меня ожидали целых две, одна, возвращенная издателем, и другая, экспромт самого трагика, где он выступал в роли протагониста **. За наименее трагического кишкала, он воспользовался, что вполне извинительно в импровизированной драме, шнуром, который служил манускрипту дорожным поясом на обратном пути, и висел теперь на нем, легкий, как святой, возносящийся на небеса, сбросив земной балласт над своим произведением.

При этом в комнате царил тишина, почти зловещая; лишь две ручных мыши, единственные домашние животные, мирно играли у моих ног, посвистывая то ли от радости, то ли с голоду; последнее предположение как бы подтверждала третья, усердно грызущая

* На голландских дукатах изображен латник.

** Так во времена Феспида ³¹ назывался единственный актер, вместе с хором играющий всю трагедию.

бессмертие поэта, его возвратившееся последнее творение.

«Бедняга,— сказал я парящему,— не знаю, считать ли мне твоё вознесение комическим или трагическим. Во всяком случае, ты закрался моцартовским голосом в дрянной деревенский концерт, и вполне естественно, что тебе пришлось оттуда улизнуть; в стране хромых единственное исключение высмеивается, как диковинная, странная игра природы, точно также в государстве воров одна только честность должна караться петлей; все в мире сводится к сопоставлению и согласованию, и если твои соотечественники приучены к визгливому крику, а не к пению, они не могли не причислить тебя к ночным сторожам именно из-за твоей отменно выработанной дикции, как произошло со мною. О, люди лихо шагают вперед, и меня подмывает сунуть нос на часок в этот глупый мир тысячелетие спустя. Бьюсь об заклад, я увидел бы, как в кунсткамерах и музеях они срисовывают лишь корчи, приняв безобразное за идеал и взыскуя его, когда красота давно уже разделила участь французской поэзии и объявлена преспой. Хотел бы я присутствовать и на лекциях по механике природы, где будет преподаваться изготовление законченного мира с наименьшей затратой энергии, а желторотые ученики будут приобретать специальность «творец мира», как теперь они дотягивают пока еще всего лишь до творцов «я». Боже правый, каких только успехов не достигнут через

тысячелетне все науки, когда уже теперь мы шагнули так далеко; обновителей природы разведется не меньше, чем у нас часовщиков; завяжется корреспонденция с луною, откуда мы уже сегодня получаем камни; драмы Шекспира будут разрабатываться как упражнения для младших классов; любовь, дружба, верность исчезнут с театральных подмостков, устаревшие, как пыне устарели шуты; сумасшедшие дома будут строиться только для разумных; врачи будут искореняться в государстве как вредители, которые изобрели средство, предотвращающее смерть; грозы и землетрясения будут организовываться с такой же легкостью, как пынешние фейерверки. Ты паришь, бедняга, но вот как выглядело бы твое бессмертиэ, и ты хорошо сделал, испарившись вовремя».

Но мое благодушие внезапно было растрогано подобно тому, как взрыв смеха заканчивается слезами, когда я глянул в угол, где, единственная радость и единственная оставшаяся мебель, безмолвно и знаменательно противостояло усопшему детство; то была старая выцветшая картина, чьи краски померкли; так, согласно поверию, румянец улетучивается со щек на портретах покойников. Картина изображала поэта приветливым, улыбающимся мальчиком, играющим у материнской груди; ах! прекрасный материнский лик был его первой и единственной любовью, и она изменила ему лишь тогда, когда умерла. Там на картине вокруг него еще смеялось детство, и он стоял среди ве-

сеннего сада, полного пераскрывшихся бутонов, томясь по их будущему благоуханию, но цветы, раскрывшись, оказались ядовитыми и принесли ему смерть. Я вздрогнул и невольно отвернулся, сравнив копию, улыбающееся детское личико, обрамленное локонами, и нынешний оригинал, парящее гиппократово лицо, черное и ужасное, подобно голове Медузы, всматривающееся в свое детство. По-видимому, в последнюю минуту он бросил последний взгляд на картину, так как он висел, повернувшись в ее сторону, и лампа горела прямо перед ней, как перед алтарным образом. О, страсти — коварные ретушеры; они по-своему подновляют с годами цветущую рафаэлевскую головку юности, искажая ее и обезображивая все более жесткими чертами, пока из ангельского лица не образуется личина, достойная адского Брейгеля.

Рабочим столом поэту, этим алтарем Аполлона, служил камень, так как все деревянное, имевшееся в комнате, включая рамку, из которой была выпута картина, давно сгнило в пламени почных жертвоприношений. На этом камне лежали возвращенная трагедия под названием «Человек» и отречение от жизни, так и озаглавленное:

«ОТРЕЧЕНИЕ ОТ ЖИЗНИ»

Человек никуда не годится, поэтому я вычеркиваю его. Мой «Человек» не нашел издателя ни как *persona vera* ни как *persona*

ficta; ради последней (то есть ради моей трагедии) ни один книгопродавец не раскошелится, чтобы покрыть расходы на ее печатание; что же касается первой (меня самого), то мною пренебрег даже дьявол, и они заставили меня, как Уголино, голодать в этой величайшей голодной тюрьме³², в так называемом мире, бросив у меня на глазах навеки в море ключи от нее. К счастью, мне хватило сил, чтобы взобраться на ее зубец и оттуда ринуться вниз. Вот за что я в моем завещании благодарю книгопродавца, пожелавшего выпустить моего «Человека», но, по крайней мере, бросившего мне в башню шнур, а он позволяет мне уйти ввысь.

Полагаю, там снаружи весело, и ничто не мешает осмотреться; там лучше со всех точек зрения, даже если я ничего не увижу, кроме здешней присподней, но там до нее мне хоть больше не будет дела,— а старый Уголино, ослепнув от голода, топтался в своей тюрьме, сознавал, что он слеп, но жизнь в нем еще яростно боролась, не давая ему отойти.

Правда, и я тоже, как он, забавлялся в моей темнице с милыми мальчиками, зачатыми мной в одинокой ночи, и они играли вокруг меня, как цветущая юность и золотые светлые грезы; это было мое потомство, теплые узы, связующие меня с жизнью,— но их тоже отвергли, и голодные твари, запертые вместе со мною, изгрызли их, так что они теперь порхают вокруг меня только в моих воспоминаниях.

Да будет так; дверь позади меня крепко захлопнулась; в последний раз её открывали, чтобы внести гроб, в котором лежало мое последнее дитя; итак, после меня не остается ничего, и я смело иду навстречу Тебе, Бог, или Ничто!»

Таков был пепел от пламени, которое не могло не удушить себя. Я тщательно собрал его, отнял, насколько мне это удалось, у голодных мышей остатки «Человека» и волею-неволею вступил в права наследства.

Если когда-нибудь Небо нежданно-негаданно улучшит мое положение, я за свой счет издам трагедию «Человек», обглоданную и неполную, как она есть, и безвозмездно распределяю тираж среди людей. А пока я намерен хотя бы в извлечениях привести пролог шута. В кратком предисловии поэт извиняется за то, что дерзнул ввести шута в трагедию; вот собственные слова поэта:

«Древние греки помещали в свои трагедии хор, чтобы он, высказывая общие соображения, отвращал взор от отдельных ужасов, умиротворяя тем самым чувства. Я полагаю, сейчас не время для умиротворения; скорее надлежит раздражать и подстрекать, так как все остальное не действует, и человечество в целом так ослабло и озлобилось, что оно, как правило, делает зло механически и совершает свои тайные грехи просто по перяшливости. Людей надо пронять, как страдающего астенией, и я ввожу моего шута с намерением разъярить их; ибо если по пе-

словице дети и дураки говорят правду, то высказывают они и ужасное, и трагическое, первые со всей жесткостью своей невинности, вторые, издеваясь и глумясь; новейшие эстетики подтвердят мою правоту». Вот как звучит то, что я решился извлечь из рукописи:

«ПРОЛОГ ШУТА
К ТРАГЕДИИ „ЧЕЛОВЕК“»

Я выступаю как провозвестник человеческого рода. Перед публикой, соответственно многочисленной, легче просматривается мое назначение: быть дураком, особенно если я в своих интересах напомню, что, согласно доктору Дарвину*³³, прологом к человеческому роду и его провозвестником является собственно обезьяна, существо, бесспорно, куда более бестолковое, нежели просто дурак, а, стало быть, мои и ваши мысли и чувства лишь с течением времени несколько утончились и облагородились, хотя они выдают свое происхождение, все еще оставаясь мыслями и чувствами, вполне способными возникнуть в голове и сердце обезьяны. Именно по утверждению доктора Дарвина, на которого я ссылаюсь как на моего заместителя и поверенного, человек в принципе обязан своим существованием виду средиземноморских обезьян и только потому, что этот вид, освоив мускул своего большого

* См. его стихотворение о природе,

пальца до его соприкосновения с кончиками других пальцев, постепенно выработал более утонченную чувствительность, перешел от нее к понятиям в последующих поколениях и наконец облекся в разумного человека, как мы и наблюдаем его изо дня в день, шествующего в придворных и других мундирах.

За эту гипотезу в целом ручается многое; и тысячелетия спустя мы вновь и вновь паталкиваемся на кричащее сходство и родство в подобном отношении, да и случалось мне замечать, как некоторые уважаемые личности с положением все еще не научились должным образом управлять мускулом своего большого пальца, как, например, иные писатели и люди, якобы владеющие пером; если я не ошибаюсь, это весьма веско подтверждает правоту доктора Дарвина. С другой стороны, у обезьяны встречаются чувства и навыки, определенно утраченные нами при нашем *salto mortale* к человеку; так, например, обезьянья мать еще и сегодня любит своих детенышей больше, чем иная мать-государыня; эту истину могло бы опровергнуть лишь одно предположение: не достигает ли последняя в пылу чрезмерной любви к потомству именно своим пренебрежением той же цели, только медленнее, чем первая, когда она душит свои чада.

Довольно, я согласен с доктором Дарвином и выдвигаю филантропический проект: давайте научимся выше ценить наших младших братьев обезьяньей породы во всех ча-

стях света и возвышать их, наших теперешних пародистов, до себя, путем основательных наставлений приучая сближать большой палец с кончиками остальных, дабы они, на худой конец, паловчились хотя бы водить пером. Не лучше ли вместе с первым доктором Дарвином счесть нашими предками обезьян, а не мешкать, пока другой доктор не причислит к нашим пращурам каких-нибудь других диких зверей и не подкрепит свою теорию весьма правдоподобными доказательствами, так как многие люди, стоит прикрыть им нижнюю половину лица и рот, расточающий блистательные слова, обнаруживают в своих физиономиях броское фамильное сходство особенно с хищными птицами, как, например, с ястребами и соколами, да и старинная знать могла бы возводить свои родословные скорее к хищникам, нежели к обезьянам, что явствует, не говоря уже об их пристрастии к разбою в средние века, из их гербов, куда они вводили по большей части львов, тигров, орлов и тому подобных диких бестий.

Сказанного достаточно, чтобы обосновать мое амплуа и маску в предстоящей трагедии. Я заранее обещаю почтеннейшей публике, что намерен смешить ее до смерти, каких бы серьезных и трагических замыслов не питал поэт. Да и к чему вообще серьезность, если человек — тварь курьезная, только действует он на сцене более пространной, куда актеры малой сцены втираются, как в «Гамлете», но как бы не важни-

чал он, придется ему за кулисами снять корону, сложить скипетр, театральный кинжал и отставным комедиантом проскользнуть в свою темную каморку, пока директор не соблаговолит объявить новую комедию. А если бы он пожелал явить свое «я» *in puris naturabilis*, не маскируя его ничем, кроме почной рубашки и колпака, клянусь дьяволом, каждый убежал бы, напуганный пошлостью и убожеством; вот и увешивает он себя пестрым театральным тряпьем, прячет лицо под масками радости и любви, чтобы выглядеть интересней, усиливает свой голос внутренним рупором, и, наконец, его «я» начинает гордиться тряпками, воображает, будто оно слагается из них, ведь бывают прочие «я», одетые еще хуже, и они восхищаются тряпичным чучелом, прославляют его, однако при свете дня и вторая Мандаана *, оказывается, искусственно сшита, выставляет gorge de Paris³⁵, намекая на отсутствующее сердце, и под обманчивой поддельной маской скрывает мертвую голову.

Какие бы глазки не строила нам личина, она никогда не обходится без мертвой головы, и жизнь — лишь наряд с бубенчиками, облекающий Ничто, и бубенчики звенят, пока их не сорвут и не отбросят в гнев. Все лишь Ничто, и оно удушает само себя, жадно само себя оплетает, и это самооплетание есть лукавая видимость, как будто суще-

* «Триумф чувствительности» Гёте³⁴.

ствуует Нечто, однако если бы удушение замедлилось, отчетливо проявилось бы Ничто, перед которым нельзя не ужаснуться; глупцы усматривают в таком замедлении вечность, однако это и есть доподлинное Ничто, абсолютная смерть, и, напротив, жизнь заключается лишь в непрерывном умирании.

Если отнестись к этому серьезно, недолго угодить в сумасшедший дом, я же отношусь к этому просто, как шут, и вывожу отсюда пролог к трагедии, правда, автор был настроен возвышеннее и вписал в трагедию Бога с бессмертием, чтобы придать своему «Человеку» значительность. Я же надеюсь при этом сыграть в трагедии роль древней судьбы, которой греки подчиняли даже своих богов, и в такой роли надеюсь поистине безумно перепутать между собой действующие лица, чтобы они своими силами не одумались, а человек, в конце концов, должен будет возомнить себя Богом или, по меньшей мере, вместе с идеалистами и мировой историей творить подобную маску.

Теперь я более или менее высказался и, по мне, пусть выступит сама трагедия со своими тремя единствами: времени,— которого я намерен строго придерживаться, чтобы человек не заблудился в вечности,— места — пусть никогда не выходит за пределы пространства — и действия — его я ограничу, как только можно, чтобы Эдип, человек, дошел только до слепоты, а никак не до преображения в последующем действии.

Я не преграждаю пути маскам; пусть будет маска на маске, тем забавнее срывать их одну за другой до предпоследней, сатирической, гиппократовой, и до последней, которая не снимается, не смеется, не плачет, она без волос и без косы; это череп, которым заканчивается трагикомедия. Против стихов я тоже не возражаю; они комичнейшая ложь, как и котурны — комичнейшая напыщенность.

Пролог уходит.



ДЕВЯТОЕ БДЕНИЕ

Хорошо еще, что среди стольких шипов моей жизни обрел я, по крайней мере, хоть одну розу в полном цветении; правда, она была вся окружена колючками, так что я извлек ее, почти облетевшую, окровавив при этом себе руку, но я сорвал ее, и она уследила меня своим предсмертным благоуханием. Этот единственный блаженный месяц среди других зимних и осенних месяцев я провел — в сумасшедшем доме.

Человечество явно образуетя наподобие луковицы: одна оболочка за другой вплоть до самой маленькой, в которой торчит сам человек, совсем уже крошечный. Так в небесном великом храме, на куполе которого чудесными святыми пероглифами парят ми-

ры, человечество строит уменьшенные храмы с поддельными звездами, а в храмах этих еще меньше капеллы и дарохранильницы, пока не заключит святыя тайны en miniature как бы в кольцо, хотя они парят вокруг величаво и мощно превыше лесов и гор и в сверкающем причастии солнца возносятся на небо, чтобы народы пали перед ним ниц. В единой мировой религии, которую тысячами писем возвестила природа, человечество разгораживает опять-таки уменьшенные народные и племенные религии для евреев, язычников, турок и христиан, а последним и этого мало, и они отгораживаются друг от друга. Так и во всеобщем сумасшедшем доме, из окон которого выглядывает столько голов, частично или вполне безумных; и в нем построены уменьшенные сумасшедшие дома, потому что дураки бывают разные. В один из этих уменьшенных меня перевели теперь из большого сумасшедшего дома, вероятно, полагая, что там стало слишком людно. На новом месте я чувствовал себя, как и на прежнем, пожалуй, даже лучше, потому что дураки, запертые теперь со мною, отличались в большистве своем приятными маниями.

Я вряд ли сумел бы представить моих товарищей по сумасшествию лучше, нежели в тот момент, когда я должен был демонстрировать их врачу, посещавшему нас, что мне приходилось время от времени делать, поскольку смотритель заведения по причине моего безвредного помешательства назначил

меня своим заместителем. Выполняя свои обязанности в последний раз, я произнес такую речь:

«Господни доктор Ольман, или Олеарнус, как вы переводите ваше имя в бессмертие, с помощью мертвого языка, в своих диссертациях и письменных извещениях,— мы, правда, все страдаем более или менее различными магиями; не только отдельные индивиды, но целые сообщества и факультеты, среди которых, например, многие, сбывая мудрость, увлеченно торгуют просто шляпами и полагают, будто можно даже головы немудрые превратить в мудрые, слегка нажав на них шляпой своего производства: иной раз такую шляпу надевают и на безголовых, якобы фабрикуя философов, потому что лица последних от чрезмерных размышлений все равно едва различимы под полями шляпы. Из-за многочисленных примеров, теснящихся в моей памяти, я потерял нить периодов и лучше совсем ее прерву, дабы начать заново».

Тут Ольман покачал своей докторской шляпой, словно сомневаясь в том, что мой головной убор когда-нибудь сменится дубликатом этого благоприобретения.

«Вы качаете вашей шляпой,— продолжал я,— потому только, что небо сделало меня дураком, а император потом не сделал доктором? Однако оставим это покамест и лучше в последнюю очередь поговорим о моем собственном безумии, а также о средствах помочь мне.

Вот номер 1³⁶, образчик гуманности, превосходящий все написанное на эту тему; я не могу пройти мимо него, не вспоминая величайших героев былого — Курция, Кориолана, Регула и иже с ними. Его безумие состоит в том, что он слишком вознес человечество и слишком принизил себя; в противоположность плохим поэтам, он задерживает в самом себе все жидкости, опасаясь, будто их свободное излияние вызовет всемирный потоп. Глядя на него, я частенько злюсь, что не обладаю на деле его воображаемым достоянием, — право, я так и поступил бы, использовал бы землю, как мой *pot de chambre*³⁷, чтобы все доктора сгнили и только их шляпы плавали бы на поверхности в большом количестве. Эта великая мысль, — бедняга не вмещает ее, вы только посмотрите, как он стоит и мучается, задерживая дыхание из чистого человеколюбия, так что, если не снабдить его воздухом с этой стороны, он умрет. Тут я рекомендовал бы пожары, пересохшие потоки с неподвижными мельницами, с многочисленными голодающими и жаждущими по берегам. Радикально излечил бы его Дантов ад, через который я веду его теперь ежедневно и погасить который он вознамерился вполне серьезно. В прошлом он, вероятно, был поэтом, только ему не удалось излиться в какую-нибудь книжную лавку.

Номер 2 и номер 3 — философические антиподы, идеалист и реалист; один воображает, будто у него стеклянная грудь, а дру-

гой убежден, будто у него стеклянный зад, и никогда не отваживается присадить свое «я», что пустяк для первого, который зато избегает морального созерцания, тщательно прикрывая себе грудь.

Номер 4 угодил сюда лишь потому, что в своем образовании шагнул вперед на пол-столетия; кое-кто из ему подобных еще на свободе, но их всех, как водится, считают полоумными.

Номер 5 вел слишком разумные и вразумительные речи, поэтому его направили сюда.

Номер 6, свихнувшись настолько, чтобы принимать всерьез шутки великих мира сего, совсем свихнулся.

Номер 7 спалил себе мозг, так как слишком высоко залетел в своей поэзии, а

номер 8 сочинял в свои разумные дни такие слезливые комедии, что рассудок его просто смыло. Теперь один воображает, что горит пламенем, а другой мнит, будто растекается водою. Я время от времени пытался изнурить противоборствующие стихии, стравливая их между собой, но огонь столь пылко нападал на воду, что мне пришлось призвать

номер 9, считающего себя творцом мира, чтобы он разнял их.

Этот последний номер часто ведет сам с собой удивительнейшие беседы, и вы можете как раз послушать одну из них, если, конечно, вы достаточно терпеливы:

МОНОЛОГ БЕЗУМНОГО ТВОРЦА

У меня в руке диковишная вещица, и пока я секунду за секундой — они там называют секунды столетиями — рассматриваю ее в увеличительное стекло, сумятица на шарике усугубляется, и я не знаю, смеяться мне над этим или гневаться, — если то и другое вообще мне приличествует. Пылинка в солнечном луче, коношащаяся там, величает себя человеком; сотворив ее, я ради курьеза сказал, что она хороша весьма, — сознаюсь, опрометчиво сказано, но что поделаешь, я был в хорошем настроении, а всякая повинка радуется здесь наверху, в этой длинной вечности, где времяпрепровождение немислимо. Кое-какими моими творениями я, правда, и теперь доволен; меня забавляет пестрый мир цветов, и дети, которые среди них играют, и летучие цветы — бабочки, и насекомые, покинувшие в легкомысленной юности своих матерей и возвращающиеся пить материнское молоко, дремать и умирать на материнской груди*. Но та мельчайшая пылинка, наделенная мною дыханием жизни и названная человеком, вновь и вновь досаждала мне своей божественной искоркой, которую придал я ей сгоряча, так что она свихнулась. Мне следовало сразу представить себе, что такая малость бо-

* Один естественный экспериментатор выдвинул гипотезу, согласно которой первые насекомые были всего лишь тычинками растений, отделившимися случайно.

жественного не принесет ей ничего, кроме вреда, ибо жалкая тварь не будет более знать, куда податься, и чаяние Бога, ей присущее, лишь заставит ее запутываться все безнадежнее, без всякой возможности найти когда-нибудь верный путь. В секунду, названную золотым веком, она вырезала фигурки, милые на вид, строила домики, развалинами которых любовалась в другую секунду, усматривая в них жилище богов. Потом она боготворила солнце, светильник, зажженный мною для нее и относящийся к моей настольной лампе, как искорка к пламени. Наконец — и это было наихудшее, — пылинка возомнила божеством самое себя и нагромоздила целые системы самолюбования. К черту! Лучше бы я не вырезывал эту куклу! Что мне теперь с ней делать? Пусть она, приплясывая, вытворяет свои штуки здесь, наверху, в вечности? Это не удастся мне самому, а если она уже там впризу скучает более чем чрезмерно и в кратчайшую секунду своего существования зачастую напрасно старается скоротать время, как же будет она скучать здесь, в моей вечности, которая ужасает порою меня самого! Совсем уничтожить ее тоже было бы жалко, ибо сей прах подчас в таком упоении грезит о бессмертии, полагая, что сами эти грезы подтверждают его бессмертие. Как же мне поступить? Поистине мой рассудок сдает. Допустим, я предоставляю этой твари умирать и слова умирать, всякий раз вытравляя искорку самосознания, чтобы этому

существо воскресать и колобродить вновь и вновь? В конце концов, это мне тоже наскучит, ибо не может не утомить фарс, повторяющийся без конца. Лучше всего мне повременить с решением в ожидании более разумной мысли, пока не заблагорассудится мне назначить дату Страшного суда».

«Вот мерзкое безумие,— добавил я, когда номер 9 замолчал.— Подобные измышления разумного человека наверняка были бы конфискованы».

Ольман покачал головой, проронив несколько весомых замечаний о душевных болезнях вообще.

Творец мира, говоривший с детским мячиком в руке, начал играть им и после паузы продолжал:

«Теперь физиков удивляют переменчивые температуры, и, исходя из этого явления, пытаются строить новые системы. Да, подобными колебаниями могут обуславливаться землетрясения и другие феномены, для телеологов открыто широкое поле деятельности. О, пылинка в солнечном луче наделена поразительным разумом; и в произвол и в путаницу она вносит нечто систематическое; она даже восхваляет и славит своего творца, находя в изумлении, что творец по смышленности не уступает ей самой. Затем она мечется как угорелая, и муравьиный народ устраивает грандиозное сборище, как будто и впрямь что-то обсуждается. Если я приложу мою слуховую трубку, то действительно кое-что услышу; с амвонов

и с кафедр жужжат нешуточные речи о мудром устройстве в природе, в то время когда я играю в мяч и дюжина-другая стран и городов гибнет, а некоторые муравьи бывают раздавлены, потому что иначе они слишком размножились бы с тех пор, как изобретена прививка против оспы. О, в последнюю секунду они так поумнели, что стоит мне чихнуть здесь наверху, это явление подвергается серьезному исследованию. К черту! Не досадно ли быть богом, когда тебя разбирает по косточкам подобный народец! Впору сокрушить весь этот шар!»

«Вы только посмотрите, господин доктор,— продолжал я, когда творец мира смолк,— как этот малый гневается на весь мир; не опасно ли нам, другим полоумным, терпеть в своем кругу титана, ибо у него тоже есть своя система, по своей последовательности не уступающая системе Фихте, хотя человек здесь преуменьшен даже по сравнению с Фихте, обособляющим его разве что от неба и ада, но зато втискивающим всю классику, словно в энциклопедию карманного формата, в малюсенькое „я“, в местоимение, доступное чуть ли не младенцу. Вольно теперь каждому извлекать из ничтожнейшей оболочки целые космогонии, теософии, всемирные истории, да еще соответствующие картинки в придачу! В любом случае сие величественно и великолепно, только не слишком ли уж мал формат? Уже Шлегель всюду замахивался на маленькие картинки, и мне, признаться, не по вкусу

великая „Илиада“, изданная in 16° 38, не впихивать же весь Олимп в ореховую скорлупку, предоставив богам и героям довольствоваться уменьшенным масштабом или же наверняка сломать себе шею!

Вы смотрите на меня, господин доктор, и снова покачиваете головой! Да, да, вы не ошибаетесь, на этом-то я и помешался, в разумном состоянии я придерживаюсь как раз противоположного мнения!

Оставим теперь нашего творца!

Вот номер 10 и номер 11, наглядно подтверждающие переселение душ; первый лает, как собака, он прежде служил при дворе; второй был чиновником и стал волком. Тут есть над чем поразмыслить.

Номера 12, 13, 14, 15 и 16 — вариации на тему одной и той же избитой уличной песенки под названием „Любовь“.

Номер 17 углубился в свой собственный нос. Вы находите это страшным? А я нет! Углубляются же нередко целые факультеты в одну-единственную букву, решая, принять ли ее за альфу или за омегу.

Номер 18 — мастер исчислений, вознамерившийся пайти последнее число.

Номер 19 размышляет о том, как его обокрало государство; такое допустимо лишь в сумасшедшем доме.

Номер 20, наконец, — моя собственная дурацкая каморка. Заходите, пожалуйста, осматривайтесь, ведь мы все равны перед Богом и разве что страдаем различными ма- ньями, если не полным безумием, разли-

чия — в малозначительных шюапсах. Там голова Сократа, на носу которой вы увидите мудрость, а там, на носу Скарамуша — глупость. В этой рукописи содержатся мои собственноручные параллели между обоими, причем выигрыш за дураком. Меня следует лечить, не правда ли? Я вообще закоренел в моем пристрастии находить разумное пошлым и *vice versa*³⁹ — от этой причуды мне не отделаться!

Не скрою, я не раз пытался притянуть к себе за волосы мудрость и ради этого имел *privatim*⁴⁰ известные отношения со всеми тремя хлебными факультетами, дабы впоследствии, после ускоренного академического бракосочетания с музами, сподобиться публичного благословения во имя человечества, как один в трех лицах, и щеголять в трех докторских шляпах, нахлобученных одна на другую. „О,— думал я про себя,— разве ты не сможешь затем, неприемтно меняя шляпы, выступать, как Протей, в теории и на практике? В диссертациях рассуждать о методах скорейшего исцеления и самого больного избавлять от его недуга как можно скорее! Быстро переменяв шляпу, обнимать умирающего, как подобает другу от юстиции, прибирая при этом к рукам дом, и, едва накинув маптю, указывать верный путь на небо, как подобает небесному другу. Как на фабрике с помощью различных машин, достигать таким образом с помощью различных шляп высшего и совершенного. А какое изобилие

мудрости и денег — желанное соединение обоих противоположных благ, высшая идеализация кентавра в человеке, когда под высочайшим всадником — упитанное животное, позволяющее ему лихо гарцевать“.

Однако при ближайшем рассмотрении я нашел, что всё суэта, и распознал во всей этой хваленой мудрости не что иное как покрывало, выброшенное перед лицом Бога на Моисеев лик жизни.

Вы видите, куда это ведет, и моя мания как раз в том и состоит, что я считаю себя разумнее систематизированного разума и мудрее канонизированной мудрости.

Я, право, не прочь проконсультироваться с вами касательно того, как лучше пользоваться мое помешательство и какие медицинские средства лучше применить против него. Дело это важное, потому что, сами посудите, как можно ополчаться против болезней, когда, согласитесь, не очень-то ясна сама система, когда болезнью слывет едва ли не высшее здоровье, и наоборот.

И какой инстанции решать, кто заблуждается научнее: мы, дураки, здесь в сумасшедшем доме или факультеты в своих аудиториях? Что, если заблуждение — истина, глупость — мудрость, смерть — жизнь, — как все это теперь вполне разумно познается в противоположностях? О, я сам понимаю, я неизлечим!»

Доктор Ольман после некоторого раздумья прописал мне максимум движения и минимум размышления, считая, что, подобно

тому как насварение желудка у других — следствие физической неумеренности, мое помешательство обусловлено излишествами интеллектуальными. Я не стал задерживать его.

Что касается моего блаженного месяца в сумасшедшем доме, для него я приберегу другое бдение.



ДЕСЯТОЕ БДЕНИЕ

Странная это ночь; лунный свет в готических сводах собора то появляется, то исчезает, подобно духам — к башенному фонарю карабкается лунатик с грудным младенцем на руках, это звонарь; его жена смотрит в слуховое окно, ломая руки, но она нема, как могила, чтобы спящий скиталец, уверенно и беззаботно преодолевающий опаснейшие места, не пробудился, услышав свое имя, и в приступе головокружения не рухнул бы вниз, в глубокую могилу. В пригороде вор вламывается во дворец, но это не мой участок, и меня приговорили к немоте, пусть вламывается! Совсем уж издалека едва доносится музыка, как будто жужжат комары или Кох импровизирует в ночи на губной гармонике⁴¹, а у самого горизонта, на ледяном зеркале луга враща-

ются легкие, воздушные конькобежцы в базельской пляске смерти, и траурная музыка аккомпанирует им.

Все замерзло, окоченело, застыло, у природы отвалились члены, и торс ее протягивает к небу свои окаменевшие культы без цветочных венков и листьев. Ночь тиха до ужаса; ледяная смерть стоит в ночи, как невидимый дух, сковавший побежденную жизнь. Время от времени озябший ворон срывается с церковной крыши. И нищий, у которого нет ни кола, ни двора, борется с дремотой, заманивающей сладостными соблазнами в объятия смерти, как русалка залучает неосторожного рыбака в волны песней.

А мне что же, обмануть смерть, отнять у нее жизнь этого нищего? Черт побери, я не знаю, что предпочтительнее: быть или не быть! О, этого вопроса не задают почующие в своих спальнях с поддельным югом и весной, памалеванной на стенах, когда настоящая весна целенеет на улице; им подают природу на стол, как лакомое блюдо, и они смакуют ее глоточками, соблюдая регулярность, чтобы не пресытиться. А этот покоится, так сказать, непосредственно на груди у старой матери, своеправной и капризной, как всякая старуха, и она то обогревает своих детей, то душит. Но нет, ты, наша мать, вечно верна и неизменна; ты предлагаешь своим детям плоды в зеленых тенистых кущах, согревающий огонь и воспоминание о тебе, когда ты дремлешь. Это

братья оттолкнули Иосифа ⁴², коварно лишив его даров, которые ты предназначаешь ему наравне с другими детьми. О, братья недостойны того, чтобы Иосиф обитал среди них! Ему лучше заснуть!

Лицо уже похолодело и застыло, сон кладет брату на руки статую брата ⁴³; я вздвигну ее здесь, чтобы она пугалом встречала наступающий день, когда взойдет солнце. — О смерть-убийца, пищий не забыл еще свою жизнь и любовь — темный локоп его жены таится в лохмотьях у него на груди; тебе не следовало губить его — и все-таки —

ГРЕЗА ЛЮБВИ

Нет, любовь не прекрасна, восхищает лишь греза любви! Слушай мою молитву, строгий юноша! Когда ты видишь возлюбленную у меня на груди, да будет роза скорее сорвана, а белое покрывало опущено на цветущее лицо. Белая роза смерти прекраснее своей сестры, ибо она напоминает о жизни, придавая ей ценность и прелесть. Над могильным холмом возлюбленной всегда парит ее образ, вечно юный, увенчанный, и никогда действительность не коснется ее черт, чтобы она охладела и кончилось объятие. Любимую надо скорее похитить, юноша, тогда беглянка вернется снова в моих грезах и напевах, она сплетет венок из моих песен и с моими мелодиями воспарит на небо. Только живое умирает, мертвое неразлучно

со мной, и вечна наша любовь и наше объятие!

Слышишь! — танцевальная музыка и похоронное пение — весело звенят бубенцы! Смелее вперед, кто заглушит другого, тот уведет с собой невесту. Жаль только, я вижу двух невест, белую и румяную — две свадьбы, на одной плакальщицы воют по-своему, а этажом выше играют музыканты на флейтах и скрипках, и над комнаткой смерти с гробом потолок дрожит и гудит от танца.

Истолкуйте же мне ночное наваждение!

Ленора скачет мимо — белая невеста здесь в тихом свадебном покое, она любила юношу, который там вальсирует; такова жизнь, она любила, он забыл, она умерла, он воспылал, прельстившись румяной розой, которую сегодня берет себе, когда ту хоронят.

Вот старая мать белой невесты у гроба — она не плачет; она слепа — и белая тоже не плачет, она спит и видит сладчайшие сны.

Тут свадебный поезд, еще танцуя, устремляется вниз по ступеням, и юноша стоит между двумя невестами. Он слегка бледнеет. Слепая мать узнает его походку. Она подводит его к брачному ложу почившей невесты.

«Ее брачная ночь началась раньше, чем у тебя; не буди же ее, ей так сладко спится, но тебя она вспоминала, пока не заснула. У нее на сердце твой образ. О, не от-

дергивай руку в таком ужасе от холодной груди; эта ночь самая длинная, когда мороз жесточайший, а она лежит в брачной постели одна, без жениха!»

Смотри! Румяную розу тоже умертвил ужас, и юноша стоит между двумя блыми невестами. Прочь, прочь! Таков бег мира. О если бы мне можно было трубить и петь!

Теперь труп реет над переулками, и свет фонарей затих на стенах, как будто смерть, шествующая мимо, не хочет будить заснувшую жизнь. Замерзшая почва потрескивает под ногами несущих гроб, это лукавый, тайный гимн в честь невесты. А невесту несут в ее опочивальню.

Поблизости еще поют и буйствуют юноши, расточая свою жизнь, любовь, поэзию в кратком неудержимом опьянении, которое рассеется к утру, когда их деяния, их мечты, их надежды, их желанья, все вокруг них отрезвет и остынет.

В монастыре святой Урсулы поздно ночью было беспокойно. Время от времени колокол бил тихо и глухо, как будто слышался сквозь сон, и в окнах церкви, чьи своды возносились над стенами, часто мелькал необычный, впрочем, быстро гаснущий проблеск. В одиночестве я обошел стену, освященную волшебным поясом опоясывающую святых дев. Вдруг я натолкнулся на человека в плаще — то, что я от него узнал, откладывая на следующую зимнюю ночь, то, что я сделал, принадлежит этой ночи.

Привратник у внешней стены был старый, глубокомысленный человеконенавистник, сердечно преданный мне как предмету, перед которым он может изливать свой гнев, когда заблагорассудится. Я нередко посещал его почами, чтобы его желчь могла проветриться, и теперь я отправился к нему. Он сидел в своей лачуге при свете лампы в обществе черной птицы, которой натянул на голову колпак, беседуя с нею.

«Знаешь ты существо,— говорил привратник,— чье лицо лукаво смеется, а внешняя личина проливает слезы, существо, поминающее Бога, когда имеет в виду дьявола, таящее внутри ядовитую пыль, как яблоко на Мертвом море, чтобы прельщать своей цветущей, румяной оболочкой, издающее меланхолические звуки с помощью искусно извитого рупора, когда оно вопит в смятении, приветливо улыбающееся, как Сфинкс, лишь затем, чтобы растерзать, обнимающее проникновенно, как змея, лишь затем, чтобы вонзить в грудь ядовитое жало? Что это за существо, черный?»

«Человек!»— каркнула тварь, отнюдь не услаждая при этом слуха.

«Черный не говорит больше ни слова,— сказал привратник,— зато как нельзя метче отвечает на все мои вопросы. Спи, черный!»

Птица прокричала еще трижды «человек» и села в темном углу, как бы глубоко задумавшись, но она просто спала.

«Они разыгрывали похороны там в монастыре,— продолжал старик,— не хочешь взглянуть? Непорочная урсулинка стала сегодня матерью; — легенда, пожалуй, провозгласила бы это чудом, но они слишком пристально заглядывали Богу в карты и сегодня, в общем, больше не верят ни в какие чудеса. Святую деву нынче ночью погребают заживо.— Я впускаю тебя. Посмотри, не соскучишься!»

Он достал ключ, петли заскрипели, и я прошел по могилам через крестовый ход. Свет факелов то и дело проскальзывал по монументам; каменные девы с художественно деланными лицами дремали на молитве, в то время как оригиналы внизу уже сбросили маски.

Я остановился за колонной, внизу зияла могила каменной кладки — уединенная раздевалоочка для уходящих: в покойце горела тусклая гробовая лампада; на возвышающемся камне был хлеб, кувшин воды, распятие и молитвенник. В церкви, воздвигнутой над склепом, царила глубокая тишина среди святых, взиравших со стен; лишь иногда ветер, сквозящий в органе, заставлял неприятно выть одну трубу.

Наконец, среди колонн показалась процессия: многочисленные молчаливые девы окружали в своем шествии невесту смерти. Все это действо ужаснуло бы мягкосердечного зрителя именно механической жутью своего распорядка; так трагическая муза потрясает тем больше, чем меньше она ломает

себе руки. Мое же чувство (уподобляющееся струнному инструменту, настроенному навыворот, чтобы никто не мог играть на нем в чистой тональности, если только дьявол не объявит концерта), было мало затронуто, и в нем ничего, в общем, не происходило, кроме безумного бега по гаммам, извлекающего примерно следующие звуки и остающегося в дисгармонии:

БЕГ ПО ГАММАМ

«Жизнь пробегает мимо человека, такая стремительная, что человек напрасно умоляет ее остановиться хоть на мгновение и сказать, чего она хочет и зачем на него смотрит. Мимо проносятся маски ощущений, все более искажаясь.— Радость, ответь,— кричит человек,— зачем ты мне улыбаешься. Личина исчезает, улыбаясь.— Скорбь, дай посмотреть в глаза тебе, зачем ты явилась мне! И скорби уже нет.— Гнев, зачем ты взглянул на меня? Я спрашиваю, а ты уже сгинул.

И личины вертятся в безумно стремительном танце вокруг меня, именующего себя человеком, а я пошатываюсь в средоточии круга, мне дурно от этого зрелища, и я тщетно пытаюсь обнять хоть одну маску, сорвать личину с постоянного лица, они пляшут и пляшут — а я — что делать мне в хороводе? Кто же я такой, если маски обречены исчезать? Дайте мне зеркало вы, мас-

леничные скоморохи, чтобы я хоть раз увидел самого себя, мне надоело смотреть на ваши переменчивые лица. Вы качаете головами — как? в зеркале не появляется никакого «я», когда я подхожу к нему,— я мысль мысли, греза грезы, вы не можете даровать мне тело и только сотрясаете свои бубенцы, когда я думаю, что это мои? Ха! Ведь ужасно одиноко в моем «я», когда я прикрываю ваши маски и хочу взглянуть на самого себя; всё — исчезающий отзвук без бывшего звука — никакого предмета — все-таки я вижу — да это Ничто, вот что я вижу! Прочь, прочь от «я» — продолжайте свою пляску, личины!»

Теперь монахиня спускается в могилу. О, кончайте же вашу игру, чтобы мне узнать, в шутку, собственно, или всерьез это делается. И в последний путь невесту смерти провожает маска — Безумие собственной персоной. Личина ухмыляется — в ужасе или восторге над нею настоящее лицо — кто знает?

Правда, за компанию с невестой замуравывают змею — Голод — и змея скоро обовьется вокруг ее груди, пока не догложится до «я». А когда исчезнет последняя маска, и «я» останется наедине с самим собой — нужно ли будет тогда проводить время?

Теперь глухо стучат по своду молотки вольных каменщиков, и камни один за другим сочетаются в своде склепа. Я еще раз различаю сквозь маленькое отверстие при свете лампы таинственную улыбку погре-

бенной — еще немного пробивающегося света — и все закрыто наглухо, и живые мертвецы поют строгое *miserere* в возглавии погребенной, желая ей доброй ночи.

Вернувшись, я, как всегда, застал привратника вместе с его старой мрачной маской. «Теперь ты ненавидишь людей?» — спросил он.

«У меня ведь, в общем, никого нет, кроме меня самого, — сказал я, — так что я по возможности меньше люблю и меньше ненавижу. Я пытаюсь думать, что я ничего не думаю, и в конце концов додумаюсь до самого себя».

«Возьми этого червяка, — продолжал старик, откидывая одеяло над спящим младенцем, — предпочитаю не оставлять его у себя, так как у меня еще бывают припадки человеколюбия, а в таком безумии мне ничего не стоит задушить его!»

Я взял мальчика на руки, и жизнь, пока еще грезящая, снова примирила меня с пробудившейся жизнью.

«Они отдали мне ребенка, чтобы избавиться от него, — сказал привратник, — поскольку ничто мужское не терпимо среди святых дев, разве только на картинах, чтобы распалить воображение. Ты только что видел, как погребли мать малого; ищи теперь его отца или подкинь гражданина миру, не опасайся за человеческое отродие, оно не пропадет».

«Я знаю отца», — ответил я и вышел из лачуги. На улице стоял незнакомец в пла-

ще, он остановил меня. «Невеста похоронена — это твой сын!» — с такими словами я положил ребенка ему на руки, и он молча прижал его к сердцу.



ОДИННАДЦАТОЕ БДЕНИЕ

Вот отрывок из истории незнакомца в плаще. Я питаю пристрастие к первому лицу — пусть же и говорит он в первом лице:

«Что такое солнце?» — спросил я однажды у своей матери, когда она описывала солнечный восход с горы. «Бедное дитя, ты никогда этого не поймешь, ты родился слепым», — ответила она печально и мягко провела рукой по моему лбу и моим глазам.

Я пламенел — описание восхитило меня; между людьми и моей любовью к ним стояла перегородка — если бы мне хоть раз увидеть солнце, думал я, преграда исчезнет, и я смогу насладиться большей близостью с моей матерью.

Моя фантазия с того дня работала бурно; дух, исполненный томления, яростно прорывался сквозь тело, чтобы увидеть свет. Там лежала страна моих чаяний, Италия со всеми чудесами природы и искусства.

Они много говорили о дне и ночи; для меня существовало только одно из двух: веч-

ный день или вечная ночь; лишь последнее верно, — полагали они.

Я сидел в моей тьме, а мой дух созерцал чудесный великий мир, присущий ему, но освещение отсутствовало, и как на утес высотой до неба, я поднимался на вершину жизни с завязанными глазами; я чувствовал шелковистую щечку цветка, впивал его аромат, но воображал при этом, что сам цветок бесконечно прекраснее своего аромата и своей шелковистой щеки.

Оживленная дивная греза дала мне узреть свет в ночи, и это был настоящий свет, но, проснувшись, я тщетно пытался снова вызвать мою грезу.

К этому времени музыка посетила мою темницу, как обаятельный гений, и оплела свои струны нежными гирляндами поэзии. Почва, по которой ступал я теперь, была священна — первая Италия моего томления.

Ангелом, шествовавшим между обеими музами и приведшим их ко мне, была девушка; небесная Мадонна завещала ей свое земное имя. *Мария*, моя ровесница, восхитила слепого мальчика своими песнями и созвучиями, накликала Любовь и Надежду своими мечтаниями, и они впервые ясным взором огляделись вокруг и вступили в жизнь, как две прекраснейшие весталки.

Мария была сирота без родителей, и моя мать, когда брала ее к себе, дала торжественный обет посвятить приемыша небу, если я когда-нибудь увижу солнце. Теперь я сно-

ва томился по солнцу, так как оно уводило от меня Марию с ее песнями.

Вскоре после этого до меня все чаще стали доходить слухи о враче, чье искусство много сулило мне. Я колебался между двумя противоположными чувствами — любовь к солнцу и к Марии были одинаково сильны в моей душе. К врачу пришлось вести меня почти силой.

Он предписал мне покой, и моя грудь заволновалась. Я стоял у врат жизни, как бы на пороге второго рождения. Вдруг я почувствовал острую боль в моих глазах; я вскрикнул, ибо моя греза вернулась: я видел свет! Тысяча сверкающих искр и лучей — быстрый взгляд в богатейшую сокровищницу жизни.

Прежняя ночь вновь облекла меня. На мои глаза наложили повязку, и мне было позволено входить в новый мир лишь постепенно.

Никаких промежутков, мне показывали очень мало предметов, и ни одно живое существо, кроме врача, не приближалось ко мне, пока тот не счел меня достаточно сильным для того, чтобы перенести величайшее.

Он вывел меня в ночь, над моей головой в непомерной дали пламенели созвездия, и я, как пьяный, стоял под миррадами миров, чуя Бога и не называя его имени. Передо мной возвышались древние руины прежней земли, горы, мрачные и суровые в ночи; тусклая зарница играла в безоблачном воздухе вокруг их глав. Леса почли в тумане

глубоким сном у их подножий, лишь слегка покачивая своими черными верхушками. Врач стоял тихий и строгий подле меня, в нескольких шагах как бы трепетал кто-то под вуалью.

Я молился!

Вдруг сцена изменилась; над горами, казалось, двинулись духи, звезды побледнели, как будто в ужасе, и позади меня открылось пространное зеркало, мировое море.

Я содрогнулся, почувствовав близость Бога.

А на землю ложилась туманы, мягко окутывая ее, а в небе стремительней двинулись духи, и когда звезды померкли, золотые розы полетели над горами в голубом небе, и волшебная весна расцветала в воздухе, набирая мощь, и вот уже целое море бушевало в вышине, и пламя на пламени вспыхивало в небесных потоках.

Тогда над еловым лесом, сверкая тысячами лучей, как целый возгорающийся мир, встало солнце.

Я всплеснул руками, защищая глаза, и рухнул на землю.

Когда я очнулся, в воздухе парил бог земли, а невеста разорвала все свои покровы, открыв свои лучшие прелести оку Бога.

Вокруг было святилище — весна сладостной мечтой распростерлась на горах и на лучах — в траве пламенели небесные звезды: цветы. Из тысячи источников море света низвергалось в мирозданье, и краски возникали в нем, как дивные духи. Вселенная любви

и жизни — румяные плоды и цветущие венки на деревьях — благоуханные плетеницы на горах и на холмах — самоцветы, сверкающие в гроздьях — бабочки, как летучие цветы, порхающие в воздухе, — тысячеголосый напев, гремющий, ликующий, прославляющий, и око Бога, взирающее из бесконечного мирового моря и из жемчужины в чашечке цветка.

Я отважился мыслить вечность!

Вдруг позади меня что-то зашуршало, — новые покровы уняли с жизни — я быстро обернулся — и увидел — ах, впервые! плачущие глаза матери.

О ночь, ночь, вернись! Я не могу больше выносить всего этого сна и этой любви.



ДВЕНАДЦАТОЕ БДЕНИЕ

Все в этом мире происходит в высшей степени неравномерно, так что я прерываю незнакомца в плаще среди его рассказа, и было бы не худо, если бы иной великий поэт или писатель потрудился прерывать себя вовремя, как сама смерть прерывает жизнь великих людей в надлежащий срок — за примерами далеко ходить не надо.

Передко человек возносится, как орел к солнцу, отторгнутый, кажется, от земли, так что все с восхищением созерцают преобра-

женного в его блеске; однако эгоист вдруг возвращается и, вместо того чтобы, похитив солнечный луч, подобно Прометею, совлечь его на землю, завязывает окружающим глаза, воображая, будто солнце слепит их.

Кто не знает солнечного орла, пролетающего через новейшую историю ⁴⁴!

Что же касается моего незнакомца, то я даю слово авторам, изголодавшимся по романтическому сюжету, что из его жизни можно выжать умеренный гонорар — стоит лишь отыскать его и дослушать его историю до конца.

В эту ночь поднялся изрядный шум. Из дверей знаменитого поэта вылетел парик, за которым поспешил его обладатель, так что было неясно, гонится ли он за своей летучей принадлежностью или, напротив, его принадлежность гонится за ним. Эта неясность побудила меня задержать его, чтобы он исповедался мне.

«Друг мой,— произнес он,— за бессмертием гонюсь я, и бессмертие гонится за мной. Ты сам знаешь, как трудно прославиться и насколько труднее просуществовать; во всех областях жалуются на конкуренцию, и в области славы, и в области существования положение не лучше; к тому же в обеих этих областях вызывают нарекания отдельные негодные субъекты, уже зачпсленные в штат, и на слово больше никому не верят. А мне на моем пути встретились особые затруднения, так что я при всем желании не мог добиться ничего. Сам посудн, что делать на

этом свете человеку, который не только не послал короны уже во чреве материнском, но, даже и вылупившись из яйца, не учился, по крайней мере, карабкаться по веткам своего собственного родословного древа; что делать человеку, который не принес на этот свет с собой ничего, кроме своего голого «я» и здорового тела. Не знаю ничего нелепее в наше время, когда служебные посты, должности, орденские ленты и звезды заготавливаются еще прежде, чем родился тот, кому предстоит занимать или носить их. Не лучше ли бедняге новорожденному, для которого не заготовлено даже теплой одежки, выйти из материнского чрева обрубком, чтобы на него хоть глазели и кормили его? Надеюсь, ты меня поймешь, дружище!

Я на все лады пробовал пробиваться, по успеха никогда не имел, пока наконец не обнаружил, что у меня нос Канта, глаза Гёте, лоб Лессинга, рот Шиллера и зад нескольких знаменитостей сразу; внимание ко мне было привлечено, и я преуспел: мной начали восхищаться. Но я не остановился на достигнутом; я написал великим людям, выпрашивая у них обноски, и теперь имею счастье обувать башмаки, в которых некогда ходил сам Кант, днем надевать шляпу Гёте на парик Лессинга, а вечером нахлобучивать ночной колпак Шиллера; да, я продвинулся еще дальше на этом поприще, у Коцебу я перенимал плач, я чихаю, как Тик, и ты не представляешь себе, какое впечатление произвожу иногда; в конце концов, тварь телесна,

и телом интересуются больше, чем духом; я тебя не дурачу, ты не думай: мне случилось прохаживаться кое перед кем, в подражание Гёте, надев шляпу задом наперед, спрятав руки в складки сюртука, и этот некто заверил меня, что предпочитает подобное зрелище последним сочинениям Гёте. С тех пор я вхож в изысканное общество, на званные обеды, словом, я благоденствую.

Не повезло мне лишь сегодня, когда я вздумал подсмотреть, как выглядит у себя дома один знаменитый великий человек, выстунающий публично с таким достоинством; он принял меня за вора, хотя то, что впопыхах похищено у него моим взором, не слишком украшает его».

С этими словами он снова надел парик Лессинга, присовокупив следующий сарказм:

«Какова цена всему этому бессмертию, друг, если после смерти парик бессмертнее человека, носившего его? О самой жизни я и не говорю, ибо в роли гения весь век пыжится смертнейшее ничтожество, а гения прогоняют кулаками, едва он появится,— вспомни только голову носившую этот парик до меня! Доброй ночи!»

Я не стал задерживать шута.

На кладбище в лунном свете околачивался некий молодой человек; мне удалось подойти к нему совсем близко, а он все не замечал меня, стараясь неистовой жестикуляцией и декламацией довести себя до соразмерного отчаянья,— средство испытанное, я действительно знал одного проповедника, ко-

торый был способен плакать не иначе, как при звуке собственных пламенных речей; постепенно молодой человек добился своего и, вытащив наконец пистолет, неоднократно приставлял его ко лбу, пока не отважился на некоей высоте спустить курок, — пистолет не выстрелил, только фальшивая косичка сорвалась от резкого движения. Поскольку дело показалось мне сомнительным, я побежал, поднял упавшую косичку и протянул ему с подобающим обращением. Он принял в своем пылу косичку за кинжал и поспешил нанести себе несколько ударов, неслучайных, но тщетных.

Я попытался привести его в себя, заметив, что трагические ситуации нередко нарушаются комическими нюансами, например, сеткой для волос, потерянной королем Лиром от избытка чувств, и тому подобным, так что мои усилия не пропали даром: он сел на могильный холм и до того онемателся, что предоставил мне прикреплять ему фальшивую косичку. Занятый этим, я продолжал его вразумлять апологией жизни, которую он принужден был слушать спокойно, так как я держал его за волосы.

АПОЛОГИЯ ЖИЗНИ

«Ей-богу, жизнь все-таки прекрасна! — И что могло заставить вас, молодой человек, легкомысленно отбросить ее, как эту косичку? — Не мешайте мне; пока я затягиваю

узел, я разовью перед вами некоторые красоты, по возможности не растягивая моих рассуждений.

Чем не угодила вам земля, неужели вы рассчитываете найти нечто лучшее на небе — если вообще существует небо или даже несколько небес, кроме этого воздушного покрова? Разве не все на земле более или менее в порядке? Наука, культура, нравственность процветают и модернизируются. Все государство, подобно Голландии, пересечено каналами и канавами, так что человеческие дарования направлены и распределены, и не приходится опасаться, что в один прекрасный день они сольются и затопят великое целое. Нет недостатка в людях, которые так выгодно расставлены, что безо всяких скидок могут сойти за молот и клещи, нимало не поступаясь при этом своим бессмертием; вы взгляните на этот колосс человечество: какова предприимчивость, каково трудолюбие, какова подвижность; один взбирается на другого, еще выше карабкается третий, ни дать ни взять эквилибристы; этот волочет изобретения, тот громоздит системы, и человеческий род не преминет, восходя по своим собственным плечам или, как Мюнхгаузен, вытягивая себя за косичку, достигнуть небес, так что уже не понадобится думать о каком-то новом небе. Только бы косичка выдержала, не оказалась бы она фальшивой, как та, которую я прикрепляю, и не придется искать никакого пути, кроме этого, чтобы попасть в горный мир.

И что вы думаете там приобрести, другой? Или там законы лучше? В пользу наших законов свидетельствует их неизменность. Или там выше нравственность? Мы так возвысились в нашей нравственности, что почти превысили ее! Или там конституции совершеннее? Разве перед вами, как на географической карте, не пестреет множество разнообразных конституций? Отправляйтесь, друг, во Францию где конституции меняются вместе с модами, и вы успеете приспособиться ко всем по очереди, из монархии переселитесь в республику, из республики обратно в деспотию; в кратчайший промежуток времени вы сможете там достигнуть величия, впасть в ничтожество и снова закончить в заурядности, которой человечество интересуется больше всего.

И против мизантропии, друг, имеются отличные средства, я испытал их на себе самом, когда вкусное блюдо отвратило меня однажды от самоубийства, и я, насытившись, воскликнул: «Жизнь все-таки прекрасна!» Как другие голову или сердце, я принимаю желудок за местопребывание жизни; все великое и превосходное в мире свершалось, как правило, по наущению желудка. Человек — существо заглатывающее и, если подбрасывать ему побольше, он в часы пищеварения не скупится на совершенства и, питаясь, преображается в бессмертного.

Какое мудрое государственное установление — периодически морить граждан голодом — как собак, когда хотят воспитать ар-

тистов! Ради сытного обеда заливаются соловьями поэты, философы измышляют системы, судьи судят, врачи исцеляют, попы воют, рабочие плотничают, столярничают, куют, пашут, и государство дожирается до высшей культуры. Да, когда бы Творец позабыл сотворить желудок, ручаюсь, весь мир остался бы в первобытной грубости и о нем не стоило бы теперь говорить.

Что же вы думаете о той жизни в которую вам не переместить эту внутреннюю душу всякой культуры⁴⁵, так как вы намерены внедриться в нее лишь духовно? Не дергайтесь, я затягиваю сейчас петлю, которая свяжет ваши волосы с косичкой! Друг мой, дух без желудка подобен медведю, сосущему свою лапу. Он — всего-навсего казначей, неразрывно связанный со своей мошной; отрежьте мошну, и казначей нет в помине. Когда переселение душ существует, в чем я не сомневаюсь, и почившие духи воплощаются, что вовсе не исключено, не только в животных, но и в цветы и в плоды, где еще пролегал связующий канал духов, если не в поглощающем желудке; оттуда, когда плотское извергается, возносятся они, улетающая в мозг, и ясно как день, что посредством беззаботного съедения нами могут быть усвоены величайшие мудрецы: Платон, Гемстергейс⁴⁶, Кант и другие.

Вот вам и примеры: Гёте — поэту, соединившему в себе Ганса Сакса, романтиков и греков, не уступает Гёте-едок, вероятно, заранее отведавший этих духов; Бонапарте,

должно быть, закурил Юлием Цезарем, и только дух Брута, кажется, где-то задержался, еще не съеденный.

Возможно ли, друг мой, вы отрекаетесь от этого желудка, от этой жизни, вы хотите выпорхнуть из всей этой замысловатой машины, где вы вращаете тысячи колес? Сколько вокруг вас подмостков, на которых вы можете выступить героем! Поля сражений, альманахи, литературные газеты, большие и малые театры!»

«Я состою в штате придворного театра,— ответил молодой человек, поблагодарив меня поклоном за прикрепленную косичку.— Кстати, пистолет не заряжен, и здесь на могиле я только пробую, умеренно буйствуя, вжиться в характер самоубийцы, которого завтра мне предстоит играть. Уравновешенность — могила искусства! Я примериваю страсти, как боец примеривает перчатки перед боем; я играю моих героев с чувством, и, по крайней мере, как великие мастера, я скряга в день, когда играю скрягу, и безумец в день, когда играю безумца».

Тут он удалился, оставив меня, посрамленного моей собственной тупостью. «О фальшивый мир!— воскликнул я в бешенстве.— Мир, где все поддельно, даже косички твоих обитателей, бессмысленное, пешлое столпотворение шутов и масок, неужели невозможно хоть немного тобою воодушевиться!»

Казалось, я широко распростерся в ночи при завешенной луне и на больших чер-

ных крыльях, как дьявол, парил над земным шаром. Я трясся от хохота; я хотел бы перетряхнуть разом всех спящих подо мною, увидеть весь род человеческий в неглиже без всяких румян, без фальшивых зубов и косичек, без накладных бюстов и задов, чтобы злобно освистать это жалкое сборище.



ТРИНАДЦАТОЕ БДЕНИЕ

Я поднялся на гору, высившуюся там, где кончается город; стояло весеннее равноденствие, и старая фея Земля разлеглась на открытом воздухе, заваривая свои полночные волшебные травы, чтобы поутру отбросить серебристые волосы, разгладить морщины, воспрянуть в образе молодой нимфы, украсившей венком роскошные локоны, и поднести своих новорожденных детей к изобильной груди. Внизу в долине пастух трубил в альпийский рог, и лады говорили так завлекательно о дальней стране, о любви, юности и надежде; под этот аккомпанемент я сочинил следующий

ДИФИРАМБ ВЕСНЕ

«Ты являешься, и бежит в испуге твой мрачный брат; его щит, его панцирь, его доспехи, в которых стоял он, вооруженный, ру-

шатся с лязгом и разбиваются, и вот, стыдливо краснея в утреннем воздухе, выступает юная земля, как цветущая дева; и ты целуешь возлюбленную, юноша, сплетая свадебный венок для ее локонов. Тогда поникает последний ледник, освобождается скованная стихия и тихо струится среди цветов, осененная зелеными кустарниками; горы возносят свои пастушьи хижины высоко в голубой воздух, а к склонам льнут пестрые стада. Цветы, распускаясь, грезят о любви, а соловей воспевает их в зарослях. Деревья сплетают свои ветви в душистые венки, протягивая их небу. Орел молитвенно возносится в солнечном свете, как бы приближаясь к Богу, и жаворонок вьется за ним вслед, ликуя над разубранной землей. Каждая благоуханная чашечка превращается в брачный покой, каждый лист — маленький мир, и всех питает любовью и жизнью горячее сердце матери. — Лишь человек — »

Тут внезапно замолк альпийский рог; и последний звук, и последнее слово медленно стихли, замирая.

« Неужели ты дописала только до этого слова, мать-природа? И чьей руке ты передала перо для продолжения? Или никогда не разрешишь ты загадку, почему все твои создания блаженно грезят, и только человек стоит, бодрствующий и вопрошающий, чтобы не услышать ответа? Где находится храм Аполлона, где единственный голос, предназначенный отвечать? Я ничего не слышу, кроме эха, повторяющего мою собственную речь, — значит, я один? »

Один! — отвечает издевательский голос. — Мать, мать, почему ты молчишь? О, ты не должна была бы писать последнее слово в творении, если на этом месте рукопись обрывается по твоей прихоти. Я упрямо листаю великую книгу и не нахожу ничего, кроме одного слова обо мне, а дальше тире, как будто автор задумал характер, намереваясь осуществить его, но не пошел дальше замысла, ограничившись одним только именем. Если замысел был труден для воплощения, почему не вычеркнул автор также имени, спротивно дивящегося самому себе и не ведающего, что ему с собой делать.

Захлопни книгу, имя, пока сочинителю не заблагорассудится заполнить пустые листы, озаглавленные тобою».

На горé среди музея природы они построили еще и маленький музей искусства, куда теперь устремлялось немало знатоков и дилетантов с пылающими факелами, чтобы при суетливых бликах света представить себе тамошних мертвых по возможности живыми. Меня тоже с большей или меньшей злостью посещают причуды, свойственные художественным натурам, и подчас я не прочь перейти из большой кунсткамеры в малую, чтобы посмотреть, как человек, хотя ему не дано вдохнуть в свои создания важнейшую часть жизни, самое жизнь, все-таки усердно валяет и вырезывает, полагая потом, что превзошел природу.

Я сопровождал знатоков и дилетантов!

А передо мной стояли каменные боги, безрукие, безногие калеки; у некоторых даже головы отсутствовали; вот превосходнейшее и прекраснейшее из всего, на что оказался способен человек, целое небо великого поникшего рода, труны и торсы, выкопанные в Геркулануме и в русле Тибра. Инвалидный дом бессмертных богов и героев, построенный среди человеческого убожества.

Древние художники, задумавшие и создавшие эти божественные торсы, проследовали мимо под покровом перед моими духовными очами.

Вот один из присутствующих, маленький дилетант, начал карабкаться с трудом вверх по безрукой Венере Медицейской, чуть ли не со слезами, вытянув губы, по-видимому, для того, чтобы поцеловать зад богине, ее часть, наиболее удавшуюся, как известно, в художественном отношении. Это меня взбесило, так как в наше бессердечное время для меня невыносимее всего гримаса вдохновения, которую готовы скорчить иные лица, и я в гневе поднялся на пустой пьедестал, чтобы потратить несколько слов:

«Мой молодой собрат по художеству,— обратился я к нему,— божественный зад расположен слишком высоко для вас, и вы при вашем малом росте не дотянетесь до него, не сломав себе шеи. Во мне говорит человеколюбие, и я боюсь, что вы, рискуя жизнью, чересчур заноситесь. Со времени грехопадения, до которого, как известно, рост Адама, по уверению раввинов, насчитывал сто лок-

тей, мы приметно уменьшились и мельчаем из века в век, так что в нашу эпоху следует серьезно предостеречь от безрассудных экспериментов, подобных вашему. Чего вы вообще хотите от каменной девы, которая в этот миг превратилась бы для вас в железную, будь у нее настоящие руки для объятия, ибо восстанавливать руки бесполезно: они не сошли бы даже за кулак Берлихингена и уподоблялись бы разве что деревяшкам, пристегнутым к телам изувеченных солдат. Друг мой, как бы не усердствовали врачиреставраторы нашей эпохи, изоцряясь в искусстве лечить и латать, они не поднимут на ноги богов, искалеченных коварным временем, как, например, тора, валяющийся там, и бывшие боги навсегда останутся инвалидами в отставке, отправленными на покой. Бывало, когда они стояли на ногах, обладая руками, бедрами, головами, перед ними лежал во прахе великий род героев; теперь дело обстоит как раз наоборот, и они лежат на земле, а наше просвещенное столетие на ногах, и мы сами пытаемся сойти за сносных богов.

Собрат по художеству, до чего мы дошли, если мы дерзаем расковыривать эти великие могилы и вытаскивать бессмертных мертвецов на свет, зная при этом, как строго запрещалось у римлян подобное осквернение даже человеческого праха. Правда, просвещенные умы теперь считают этих усопших всего-навсего идолами, а искусство — лишь тайно закравшаяся в наше время языческая секта, боготворящая и обожающая их, но что

это за искусство, собрат по художеству? Древние пели гимны, Эсхил и Софокл славали свои хоры во славу богов; наша нынешняя художественная религия молится в критических статьях и благоговеет головою, как истинно верующие сердцем.

Ах, похоронить бы снова древних богов! Целуйте зад, молодой человек, целуйте, и хватит!

С другой стороны, друг, если вы больше не хотите молиться, то не следует и восхищаться за счет природы, ибо я решительно возражаю против очеловечивания этих богов. Молиться им или похоронить их, выберите!

Не смотрите так снизу вверх, любезный! Хоть однажды введите природу (я имею в виду истинную природу), если можно, как действующее лицо в этот зал художеств и предоставьте ей слово. Черт возьми, она расхохочется над уморительной человеческой маской, которой не сможет не счесть пошлой, как чучело в письме Горация к Пизонам⁴⁷.

Спросите ее, действительно ли стала бы она когда-нибудь приспосабливать этот нос к этому пальцу на ноге, тот лоб к этому рту, тот зад к этой руке; бьюсь об заклад, она рассердится, если вы вздумаете приписать ей что-нибудь подобное. Этот Аполлон вышел бы, чего доброго, калекой, продолжи она его, начиная с мизинца ноги; этот Антиной оказался бы Терситом, а тот могучий трагический Лаокоон Калибаном, если переделать их по законам природы. А что тогда ожида-

ло бы эту Минерву, которая теперь стоит перед вами, отделанная до высшей степени идеала, хотя у нее отсутствует именно голова, трон мудрого духа, ставшего невидимым, как свойственно духам.

Эта безголовая Минерва, вообще, привлекает мое внимание куда больше, чем Агамемнон с прикрытой головой на известной картине Тиманфа⁴⁸. Если из последнего художники вывели правило, предписывающее не изображать высшее бесконечное страдание, а лишь намекать на него, чтобы оно угадывалось в созерцании, то первая свидетельствует о том же в отношении к первоюданной красоте. Наши современники не опровергают этого правила, и головы у них в двойном отношении следует рассматривать как суррогаты голов, торчащие там вверху наподобие башенных шариков, чтобы придать образу простую законченность. Древние, подобно тому Прометею в углу, пекли людей из той же глины, но они вкладывали в нее солнечную искру; мы же не любим играть с огнем, мы осторожны и обходимся без искры; ведь имеется теперь и всеобщая пожарная охрана — цензура и рецензирование — удушающие любое пламя, не успеет оно вспыхнуть. Так что солнечной искре у нас не возгореться. Мудро устроено государство, предпочитающее налаженную машину смелому духу в своих гражданах, выколачивающее даже лиса из его шкуры, чтобы использовать шкуру, поднимающее выше головы своего уроженца его руки и ноги, эти

прочные механизмы для вращения и ходьбы. Государству, как Бриареею, достаточно одной головы при сотне необходимых рук — вот и отлично!»

Я испуганно замолчал, так как при обманчивом свете факелов неожиданно ожил вокруг весь изувеченный Олимп; разгневанный Юпитер собирался встать со своего места, строгий Аполлон схватил свой лук и звонкую лиру, мощно вздымались драконы вокруг борющегося Лаокоона и никнущих сыновей; Прометей мастерил людей култышками своих рук, немая Ниобея защищала меньшого из своих малышей от разящих солнечных стрел; музы без рук, без ног и без губ задвигались, как бы пытаясь играть и петь старые отзвучавшие песни, — но тишина вокруг не нарушалась, лишь мерещилось бурное судорожное движение на поле битвы, лишь в глубине сцены, не нуждаясь в освещении, застыл окаменевший хор фурий, мрачно и жутко взирающий на эту сутолоку.



ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ БДЕНИЕ

Возвратимся в сумасшедший дом, ты, тихий спутник, разделяющий со мною мои ночные бдения.

Ты помнишь еще мою дурацкую каморку, если от тебя еще не ускользнула нить моей

истории, тихо и потаенно вьющейся узким потоком через лесистые утесы, что я сам нагромоздил. В этой дурацкой каморке я лежал, замкнувшись, как сфинкс в пещере, с моей загадкой, и мне уже открывался счастливый путь к настоящему безумию, к единственной устойчивой системе, именно потому, что ежедневно у меня был повод сопоставлять результаты этой всеобщей школы с достижениями отдельных лиц.

Я хочу извлечь нечто! — говорят писатели, собираясь начать от яйца, и я присоединяюсь к ним, так как надеюсь в эту ночь высидеть единственное соловьиное яйцо моей любви, ибо вокруг меня целкают соловьи во всех кустах и ветвях, образуя как бы хор для одной-единственной любовной песни.

Злобствуя на человечество, я гастролничал когда-то в придворном театре и выбрал роль Гамлета, дававшую мне возможность хоть частично излить мою желчь в молчаливый партер. В тот вечер случилось так, что Офелия приняла всерьез свое пангранное безумие и, действительно рехнувшись, убежала из театра. Шуму было много, и, если другие режиссеры имеют обыкновенно заниматься разучиванием ролей, тогдашнему пришлось усиленно отучать от роли свою примадонну; впрочем, напрасно: могучая рука Шекспира, этого второго создателя, схватила ее слишком крепко и, к ужасу всех присутствующих, не отпускала. Для меня было интересным зрелищем это мощное вторжение исполинской руки в чужую жизнь, это

преобразование действительного лица в поэтическое, выходящее и уходящее на котурнах перед глазами всех разумных, чтобы те послушали отрывочные песни, подобные дивным реченьям духов. Чем усерднее пытались обратить ее к разуму неопровержимейшими доводами, тем яростнее она противилась, и, наконец, не осталось ничего другого, кроме как отправить ее в сумасшедший дом.

К моему немалому удивлению там я снова встретился с ней. Ее каморка непосредственно соседствовала с моей, и я слышал изо дня в день, как она воспевает деревянный башмак и перловцу на шляпе своего возлюбленного. Молодчик моего пошиба, весь состоящий из ненависти и злобы и, в отличие от прочих детей человеческих, как бы родившийся не из материнского чрева, а скорее из беременного вулкана, мало предрасположен к любви и тому подобному, однако здесь в сумасшедшем доме в меня закралось нечто в этом роде, заявив о себе, правда, не теми обычными симптомами, как, например, пристрастие к лунному свету, прилив поэзии к голове и проч., а скорее неистовым стремлением пропагандировать безумие, организовать обширную колонию помешанных и внезапно высадить их на твердую землю к ужасу остального рассудительного человечества.

Это бешеное чувство, именуемое любовью и напавшее, как саранча с неба, на высохшую земную степь, со временем претерпело и во мне серьезные осложнения, и я, сам

ужасаясь в душе, сочинил несколько стихотворений, взирал на луну и даже подпевал временами соловьям, насвистывавшим вокруг сумасшедшего дома. Поистине я был даже отчасти растроган однажды в так называемый меланхолический вечер, и в определенные часы я мог даже выглядывать из устья моей кавказской пещеры, думая меньше, чем ни о чем. В этот период времени я вверил моим табличкам кое-какие соображения, и некоторые из них я привожу здесь для чувствительных душ.

К МЕСЯЦУ

Нежный лик, преисполненный доброты и умиления, ибо ты, вероятно, сочетаешь в себе то и другое, так как ты в небесах никогда не открываешь рта ни для проклятия, ни для зевка, хотя тысячи дураков и влюбленных устремляют к тебе свои вздохи и желанья, избирая тебя в наперсники; сколько бы ты не бегал вокруг Земли, как ее спутник и чичисбей, ты всегда оставался надежным конфидендом, и в истории вплоть до Адама не отыщется ни одного примера, когда бы ты выразил недовольство, покривился бы или принял насмешливую мину, слушая тысячи и тысячи раз, как повторяются одни и те же вздохи и жалобы. Ты всегда одинаково внимателен, и даже можно заметить, что ты, растроганный, частенько прибегаешь к платочку-облачку, скрывая за ним свои слезы. Найдет ли лучшего слушателя поэт, чи-

тающий свои творения; найду ли более чуткого наперсника я, снедаемый любовью в сумасшедшем доме! Как ты бледен, милый, как участлив и одновременно как внимателен ко всем, кто, кроме меня, взирает на тебя в этот миг! Твою добродушную мину легко принять за глуповатую, особенно сегодня, когда твой лик расплнел и выглядит круглым и упитанным, но поправляйся, как хочешь, я все равно не усомнюсь в твоём участии, лишь бы ты оставался прежним, как и тогда, когда ты вновь убываешь, претерпевая ущерб, как ин закрывай, когда ты слишком растроган, себе лицо, подобно плачущему Агамемнону, так что виден лишь твой затылок, облысевший от горя! Прощай, добрый, прощай, любимый!

К ЛЮБВИ

Женщина, что ты ищешь, привязываясь ко мне? Заглянула ли ты прежде мне в лицо? Ты с твоей улыбкой и вкрадчивыми минами и я с гневом и злобой, чей лик подобен лику Медузы. Подумай, милая, ведь мы не пара. Отступись от меня, черт возьми, мне с тобой нечего делать! Ты снова улыбаешься и не отпускаешь меня? Что означает божественная маска, в которой ты смотришь на меня! Я сорву ее с тебя, чтобы узнать животное, прячущееся за ней, ибо в самом деле я не могу назвать истинное твое лицо прелестнейшим. О Небо! мне все хуже, я воркую, я изнываю до полного убожест-

ва — ты хочешь довести меня до бешенства! Женщина, и ты можешь находить удовольствие, пытаясь играть на таком неблагоприятном инструменте, как я! Композиция рассчитана на проклятие, а мне при этом нужно петь любовную песню. О, позволь же мне проклинать, а не пизывать в таких ужасных звуках; вверх свои вздохи флейте, из меня они доносятся звучащем боевой трубы, а когда я воркую, слышится барабанная дробь. А тут еще первый поцелуй — остальное еще можно выдержать, как всё, выражающееся лишь в речи и в звуке и позволяющее мне думать при этом совсем другое, — но первый поцелуй, — я никогда никого не целовал из отвращения к слезливому и нежному лицемерию, — чудовище, знал бы я, что ты так соблазнишь меня, я бы собрал последние силы и отбросил бы тебя!

Такими и подобными фрагментами я измучивал себя, методически пытаюсь исписаться, как иной поэт, отдающий бумаге свои чувства до тех пор, пока они, наконец, не иссякнут, оставив его, отрезвленного и догоревшего.

Однако мне ничего не помогало; критические симптомы даже учащались, и я уже бродил, уходя в себя и присмирив почти по-человечески перед лицом мира. Я чуть ли не начинал думать, будто этот мир — лучший из миров и человек — не просто главное животное, а нечто большее, наделенное некоторой ценностью и даже бессмертием, быть может.

Когда дело зашло так далеко, я махнул на себя рукой и опустился до такого же будничного и скучного поведения, как всякий другой влюбленный. Меня уже больше не пугали поползновения к версификации, я уже подвергался затяжным припадкам умиления и привыкал к выражениям, невысказанным прежде у меня в устах. И вот с моего стапеля сошло первое любовное письмо, приводимое мною здесь назидания ради:

ГАМЛЕТ ОФЕЛНИ

Небесный идол моей души, прелестнейшая Офелия! Это вступление, которым я начал мое первое письмо к тебе, когда мы с тобой еще на сцене придворного театра любили друг друга к удовольствию зрителей, быть может, введет тебя в заблуждение и заставит предположить, что я, как и тогда, симулирую безумие со всеми метафорическими ухищрениями, привезенными мною из высшей школы. Но ты не заблуждайся, идол мой, на этот раз я действительно помешался — настолько все заключено в нас самих, а вне нас нет ничего реального, так что мы, согласно учению новой школы, даже не ведаем, стоим ли мы на ногах или на голове и разве что уверили себя в первом, полагаясь на свое же собственное честное слово. Я чертовски серьезен, Офелия, и ты не думай, будто я паясничаяю. Ах, как все теперь переменялось в твоём бедном Гамлете; вся эта земля, казавшаяся заглушим садом, полным

репьев и колючек, вместилищем ядовитых испарений, превратилась перед ним в Эльдorado, в цветущий сад Гесперид; он был свободен и мог похвастать железным здоровьем раньше, когда ненавидел, чтобы стать хворым невольником теперь, когда он любит. Дражайшая, я хотел бы высказать запредельную ненависть; по крайней мере, тогда исчезло бы все, что привязывает меня к этому глупому шару, и я мог бы, веселый и счастливый, ринуться в вечное Ничто — так что, к сожалению, дражайшая, я уже не говорю тебе, как прежде: иди в монастырь! — ибо я уже достаточно помешался, чтобы предполагать: когда человек влюблен, именно потому он, дурак, все быстрее идет навстречу смерти, а та навстречу ему, пока они оба не встретятся и крепко не обнимутся навеки, будь то у камня, где почил святой Густав⁴⁹, или на эшафоте, где истекла кровью прекрасная Мария⁵⁰, или в другом месте получше или похуже.

Одно я знаю наверное: лютый враг парит с издевкой над землею, он-то и подбросил ей чарующую маску любви, и теперь все дети человеческие рвут ее каждый себе, чтобы примерить ее хоть на минуту. Видишь, и я, к сожалению, поймал ее; я перемгиваюсь нежно с мертвой головой, которую она скрывает и, черт возьми, желаю зачать с тобой дитя человеческое. О если бы не проклятая личина, сыны земли наверняка сыграли бы шутку со Страшным судом, приняв закон против народонаселения, и наш Господь или

тот, кому придет охота напоследок взглянуть на шар земной, к своему удивлению не увидит бы на нем людей.

Но позволь теперь перейти к пункту, которого, к сожалению, не могу опустить, как ни стараюсь,— к моему объяснению в любви.

Со дня моего рождения не замечалось во мне большего негодования, бешенства, чело-веконенавистничества, чем в это мгновение, когда я, разъяренный, пишу тебе, что я тебя люблю и обожаю, и как ни желал бы я тебя ненавидеть и тобою брезговать, едва ли не более томительно жажду я услышать от тебя признание во взаимной любви. Твой до сих пор,

любящий *Гамлет*.

ОФЕЛИЯ ГАМЛЕТУ

Любовь и ненависть предписаны мне ролью, как и безумие в конце, но скажи мне, что все это такое само по себе и что мне дано выбрать. Имеется ли что-нибудь само по себе или все лишь слова, дуновение, разгул фантазии. Видишь ли, я никак не могу определить, не греза ли я, или это лишь игра, или это истина, а если истина, то превосходит ли она игру — оболочка на оболочке, и я, действительно, часто близка к тому, чтобы на этом помешаться.

Ты мне только помоги перечитать мою роль в обратном порядке и дочитать до меня самой. Существою ли я вне своей ро-

ли, или все только роль, и я сама тоже. У древних были боги, и среди них один, по имени Сон, и он, должно быть, странно себя чувствовал, когда на него нападала причуда считать себя действительным, хотя он Сон. Я готова предположить, что человек — тоже такой бог. Мне бы хоть одно мгновение поговорить со мною самой и узнать, сама ли я люблю или только мое имя Офелия или есть ли сама любовь нечто или одно только название. Смотри, я сама за собою гонюсь и при этом вечно убегаю от себя, и мое имя со мной, и я снова повторяю роль, но ведь роль — это не Я. Приведи меня хоть однажды к моему «Я», и я спрошу его, любит ли оно тебя.

Офелия.

ГАМЛЕТ ОФЕЛИИ

Не углубляйся слишком в такие предметы, дорогая, ибо их природа настолько запутана, что они быстро приводят в сумасшедший дом. Все — роль, сама роль и актер, таящийся в ней, и в нем опять-таки его мысли, планы, вдохновения, шутки — все принадлежит моменту и быстро уносится, как слово, слетевшее с губ комедианта. Всё всего-навсего театр, играет ли комедиант на самой земле или на два шага выше, на подмостках или на два шага глубже, в земле, где черви подхватывают реплику ушедшего короля; пусть сценическими декорациями служат весна, зима, лето или осень, пусть

рабочий сцены вывешивает солнце или луну и за кулисами подражает грому или буре, — все снова пронесется, померкнет, переменится — все вплоть до весны в человеческом сердце, а когда кулисы бывают совсем убраны, за ними выступает лишь странный голый скелет без красок и жизни, и скелет ухмыляется другим бегающим еще туда и сюда комедиантам.

Ты хочешь вычитаться из своей роли в запредельное к твоему «Я»? Смотри, там стоит скелет, бросает горстку праха в воздух и уже распадается сам, и при этом слышится язвительный смех. Вот мировой дух, или дьявол, или Ничто в отзвуке.

Быть или не быть! Как я был наивен, когда задавал этот вопрос, приставив палец к носу; насколько наивнее те, кто повторял его после меня, полагая, будто за пределами Целого таится чудо. Мне бы следовало сперва осведомиться, что значит «быть», а уж после выяснилось бы что-нибудь путное о том, что значит «не быть». Тогда я привез из высшей школы теорию бессмертия и прослеживал ее по всем категориям. Да, я и впрямь боялся смерти из-за бессмертия — и клянусь Небом, не без основания, ибо если за этой нудной *comédie larmoyante*⁵¹ последует вторая такая же, я полагаю, дальнейшие объяснения излишни.

Посему, дорогая Офелия, выкинь все это из головы, давай любить, плодиться и участвовать во всех этих дурачествах — просто из мести, чтобы после нас тоже выступали

роли, заново распространяя всю прежнюю скуку, пока последний актер не разорвет в ярости бумагу и не выпадет из роли, отказавшись играть перед невидимым партером.

Короче говоря, люби меня без дальнейших умствований.

Гамлет.

ОФЕЛИЯ ГАМЛЕТУ

Ты реплика в моей роли, и я не могу тебя вырвать, как не могу вырвать листов из пьесы, где записана моя любовь к тебе. Если уж нельзя мне добраться до меня самой, перечитав роль в обратном порядке, придется дочитать ее до конца, до *exeunt omnes*⁵², может быть, хоть за этим окажется подлинное «Я». Тогда я скажу, существует ли что-нибудь, кроме роли, живет ли «Я» и любит ли тебя.

Офелия.

Обменявшись письмами, мы обменялись словами, потом последовали остальные обмены взглядами, поцелуями и пр., вплоть до обмена жизни на жизнь.

Через несколько месяцев была написана реплика к новой роли. В это время я был почти счастлив, впервые почувствовал в сумасшедшем доме что-то вроде любви к людям и всерьез обдумывал планы осуществить вместе с окружающими дураками платонову республику. Однако бог-морок снова все перечеркнул.

Офелия становилась все бледнее и рассудительнее, хотя врач полагал, что безумие в ней нарастает; однако наступил момент, когда в помешательство вмешался высший смысл.

Дикая буря свирепствовала вокруг сумасшедшего дома; прильнув к решетке, я всматривался в ночь, хотя кроме нее ничего не было видно ни на небе, ни на земле. Казалось, я подошел вплотную к Ничто и слышу докричаться до него, но не было слышно ни звука, — я ужаснулся, полагая, что действительно кричал, но я слышал крик лишь в себе самом. Молния без последующего грома пронеслась быстро, как стрела, и так же беззвучно; день явился и исчез вместе с нею, подобно духу. Около меня с одной стороны сумасшедший жутко громыхал своими цепями, с другой стороны я слышал Офелию, поющую отрывки своих баллад, но звуки часто превращались во вздохи, и, наконец, я воспринял во всем этом великую дисгармонию, которой аккомпанировали гремящие цепи. Мне почудилось, будто я сплю. Тут я оказался наедине с самим собой в Ничто; лишь вдалеке светилась окраина земли, словно гаснущая искра, — но это была лишь оконечность моей мысли. Единственный звук вздрагивал тяжело и сурово в пустоте, это было последнее бдение времени, и теперь наступала вечность. Я больше ни о чем не думал, я мыслил только себя самого! Ни одного предмета не было вокруг, лишь великое грозное Я, по-

жирающее само себя и непрерывно возрождающееся в самопоглощении. Я не падал, потому что больше не было пространства, но и парил я вряд ли. Изменчивость исчезла вместе со временем, и царила страшная, вечная, пустынная скука. Вне себя я пытался себя уничтожить, но продолжал существовать и чувствовал себя бессмертным!

Тут моя греза уничтожилась в своем собственном произрастании; я очнулся, глубоко вздохнув,— свет погас, глубокая ночь вокруг, я только слышал, как Офелия поет свои баллады, словно баюкая кого-то. Я ощупывал стены моей каморки, а мимо меня крались в темноте сумасшедшие, тихо перешептываясь.

Я отворил дверь Офелии, она лежала на своей постели, бледная, и пыталась убаюкать новорожденного мертвого ребенка; рядом с ней стояла безумная девушка, приложив палец к губам, и как бы делая мне знак молчать.

«Теперь он спит»,— сказала Офелия, улынувшись мне, и ее улыбка показалась мне разверзнувшейся могилой. «Слава Богу, есть смерть, и за ней нет бессмертия»,— сказал я невольно.

Она продолжала улыбаться и шепнула после краткой паузы, как будто речь постепенно развеивалась в дуновении, тихо испаряясь: «Роль подходит к концу, но «Я» остается и похоронят лишь роль. Слава Богу, я выхожу из пьесы и слагаю мое заимствованное имя; после пьесы выступает «я».

«Это Ничто»,— сказал я, задрожав. Она продолжала еле слышно: «Там стоит оно уже за кулисами и ждет своей реплики; когда только занавес опустится! Ах, я люблю тебя! Это последние слова в пьесе, и только их я постараюсь запомнить из моей роли — это было прекраснейшее место. Остальное пусть они похоронят!»

Тут опустился занавес, и Офелия ушла; никто не аплодировал, да и зрителей как будто не было. Она уже крепко спала с ребенком на груди, только оба были очень бледны, и не было слышно дыхания, так как смерть уже надсла на них свою белую маску.

Я стоял, ненормально возбужденный, у ее постели, и во мне что-то копилось, как будто назревал взрыв дикого смеха; я ужаснулся, ибо это был не смех, а первая в жизни слеза, выплаканная мною. Вблизи завывал еще кто-то, но это была только буря, посвистывающая в сумасшедшем доме.

Когда я огляделся, сумасшедшие стояли полукругом у постели, все молчали со странными жестами в причудливых позах; одни улыбались, другие глубоко задумались, третьи качали головами или всматривались в белую покойницу с ребенком; творец мира тоже был среди них, но он со значением приложил палец к губам.

И некая робость напала на меня в этом кругу.



ПЯТНАДЦАТОЕ БДЕНИЕ

Насколько снисходительно терпят дураков на любом месте, как учит нас повседневный опыт, настолько же возмущены были моей попыткой размножить дураков и в наказание меня лишили даже моей дурацкой каморки.

Ах, как было мне грустно прощаться с моими братьями, чтобы снова блуждать среди разумников, и когда позади меня проскрежетал замок в двери сумасшедшего дома, я остался совершенно один и меланхолически посетил кладбище, куда они отнесли Офелию. О, встретить бы мне, по крайней мере, Лазрта, чтобы подраться с ним на могиле, ибо из сумасшедшего дома я вынес успленную ненависть ко всем разумникам, по-прежнему сновавшим вокруг меня и мимо меня со своими постными, невыразительными физиономиями.

Богач и нищий обладают преимуществом перед остальными детьми человеческими, так как у них есть возможность полностью отдаться тяге к путешествиям. Богач отмыкает роскошество земли, держа в руке золотой ключ, а у бедняка имеется бесплатный билет, действительный для всей природы, и ему открыты ее высочайшие и прекраснейшие жилища: сегодня Этна, завтра Фингалова пещера; на этой неделе летняя обитель мудреца на Женевском озере⁵³, на следующей неделе великолепный хрустальный чертог Рейнского водопада, где вместо потолоч-

ной живописи солнце тклет радугу над головой, и природа, непрерывно разрушая свой дворец, вновь и вновь отстраивает его.

Покажите мне короля, который мог бы жить блистательнее, чем нищий!

Сверх того, я путешествовал, пользуясь привилегией никогда не оплачивать моего счета и никого не благодарить за ужин, кроме старой матери Природы, ибо в земле еще сохранились коренья, в которых она не отказывала мне, и она же предлагала моим жаждущим устам в чаше утеса свежий кипучий напиток низвергающегося водопада. Я был по-настоящему весел, свободен и мог сколько угодно ненавидеть людей, в своей жалкой ненужности пробирающихся через великий храм солища.

Однажды, едва встав с моего ложа, благоуханной цветущей травы, глядя в утренний воздух, где солнце поднималось из моря, подобное духу, я сочетал полезное с приятным, надкусывая только что выкопанный корень. Человеческое величие сказывается в том, что люди находят себе побочные занятия поблизости от возвышенных предметов, например, смотрят с трубкой в зубах в лицо восходящему солнцу, едят макароны при трагической катастрофе и т. п.; люди весьма в этом понаторели.

Я расположился так уютно, что мне пришла охота произнести нижеследующий монолог:

«Нет ничего выше смеха, и я ценю его так же высоко, как другие образованные

люди ценят плач, хотя слезу легко вызвать пристальным взглядом в одну точку, механическим чтением драм Коцебу, да и, наконец, уже одним затяжным успленным смехом. Разве не видел я недавно одного довольно чахлого человека, проливавшего обильные слезы при виде восходящего солнца, а другие разве не стояли поблизости, не восхищались этим признаком сердечной чувствительности и сами не заплакали напоследок, сострадая плачущему? Тут я подошел и спросил: «Друг, ты так растроган предметом?» «Да нет же,— ответил тот,— но по новым наблюдениям луч света помимо того, что он вызывает чиханье и слезы, также способствует плодовитости, а я был в Италии!» Я понял человека, заглядывающего в глаза солнцу ради насущной нужды, а не ради голого фантазирования. Когда я, смеясь, обернулся, другие, плача, поносили меня в достаточно резких выражениях; контраст усугубил мою смешливость; еще немного, и они до того растрогались бы, что побили бы меня камнями.

Имеется ли более действенное средство противостоять глумлению мира и самой судьбе, чем смех? Эта сатирическая маска устрашает врага во всеоружии, и даже несчастье отступает в испуге передо мной, когда я отваживаюсь высмеять его! Черт возьми! Чего стоит вся эта земля со своим сентиментальным спутником месяцем, если не насмешки, да и ценность земли разве только в том, что на ней обитает смех. На земле все было

так слащаво и благостно оборудовано, что дьявол, взглянув на нее скуки ради, разозлился и, чтобы насолить строителю, послал смех, а смех ухитрился искусно и незаметно закраситься в маску радости, которую люди охотно примеряли; тогда смех сбросил эту личину, и на людей злобно глянула сатира. Оставьте мне только смех на всю мою жизнь, и я продержусь здесь вишзу!»

«Хо-хо!» — послышалось прямо у моего уха, а когда я обернулся, деревянный шут смотрел мне в лицо дерзко и упрямо. «Вот мой патрон, — сказал громадный детина, показывавший его мне, поставив рядом большой ящик. — Ты годишься в шуты, а я как раз в них нуждаюсь, так как мой шут сегодня помер. Хочешь, так приступай; местечко доходное, и занимать его выгоднее, чем жрать коренья!»

Деревянный скоморох смотрел на меня при этом доверительно, и я почувствовал к нему влечение, как будто встретил друга. «Парнишка вырезан в Венеции, — сказал кукольник, словно подзадоривая меня, — бьюсь об заклад, он разумеет свое дело лучше других; ты только глянь, он ходит и стоит, как на живых ногах, пьет, ест, стбит мне потянуть за нитку, может смеяться и плакать, как всякий человек, для чего достаточно легкого механического нажима!»

«Так!» — воскликнул я, взваливая ящик на плечи, и деревянное общество застучало внутри при ходьбе, как будто от нечего делать оно устраивало французскую революцию.

В трактире нашелся театр и люди, готовые посетить его; руководитель бегло преподавал мне теоретические основы трагического и комического искусства; открыл он, чтобы развлечь меня, и маленькую боковую дверь, где лежал на соломе в саване мой предшественник-шут, сыгравший свою роль до конца; его лицо злобно скорчилось, а руководитель сказал: «Он умер от смеха; он так смеялся, что за сценой его хватил удар!»

«Прекрасная смерть!» — ответил я, и мы приготовились руководить деревянной труппой. Мой спутник был настоящий мастак в том, что касается любовников и любовниц; за них он говорил фистулой. Моей же главной специальностью стал шут, но заодно мне были поручены короли. Когда занавес опустился, мой напарник пламенно обнял меня, сказав, что я делаю честь занимаемому мной месту.

В том, как дорого обходится руководителю руководство, мы имели возможность убедиться и среди марионеток; дело было так.

Мы раскинули нашу сцену в маленькой немецкой деревне вблизи французской границы, за которой давалась великая трагикомедия, но король дебютировал неудачно, а шут в роли Свободы и Равенства потрясал человеческими головами вместо бубенцов. Нас угораздило представлять Олоферна, и мы так распалили зрителей-крестьян, что они ворвались на сцену, похитили у нас Юдифь среди других актрис и с нею и с отрубленной деревянной головой Олоферна

направились прямо к дому старосты, потребовав от него не больше, не меньше, как его голову. Требуемая голова побледнела, когда ей показали окровавленную деревянную, и так как ход событий все более настораживал меня, я попытался по возможности быстро придать ему другое направление. Я завладел головой Олоферна, вскочил на камень и решился пропнести следующую речь:

«Дорогие соотечественники!

Взгляните на эту окровавленную королевскую голову, которую я возношу перед вами. Когда она еще торчала на своем туловище, ею управляла проволочка, проволочкой управляла моя рука и так далее до таинственных инстанций, где невозможно более определить, кто управляет. Это королевская голова, я же, дергавший проволоку, чтобы голова кивала так и эдак, я простолюдин и не имею в государстве никакого значения. Как же вы можете сердиться на этого Олоферна, когда он кивал или покачивал головой по моему соизволению? Я полагаю, вы сочтете мою речь разумной, соотечественники! Но, кажется, вы определенно перенесли свой гнев с этой деревянной головы на голову вашего старосты, и, по-моему, зря. Позволю себе изъясниться образно: мой Олоферн вам не угодил, так бейте меня, простолюдина, по рукам, чтобы мой министр, поводырь, за который я тяну, дернулся в другую сторону, и в результате королевская голова кивала бы или покачивалась бы грациознее

и осмысленнее. Что вам сделала эта бедная голова, почему вы так с ней носитесь: она же самая механическая вещь в мире, и даже ни одной мысли в ней нет. Не требуйте свободы у этой головы, она сама не содержит в себе ничего подобного. Да и вообще не без изъяна то, что вы обзываете свободой; разве не игра марионеток все то, что вы сегодня видели, когда голову деревянного короля отделяют от его туловища, не добившись дальнейшего успеха, а в моем ящике имется еще более неудачный образчик недомыслия, когда автор, не совладав с темой, в духе политических поэтов сочиняя республику, испортил ее и превратил в деспотию. Хотите, я покажу вам такое представление! Несправедливость в том, что приводятся в исполнение такие противостественные приговоры, когда, например, настаивают на обезглавливании, а никакой головы нет, одна только деревянная видимость, и я, к счастью, умею водружать ее снова на туловище, что удастся не во всяком подобном случае. И горе моим бедным марионеткам, если настоящая голова пожелает заменить деревянную, которую я держу в руке, и начнет по-своему кивать и качаться; тогда проволока совсем оборвется, и фарс может легко революционизироваться до серьезной трагедии. Полагаю, сказанного довольно, соотечественники!»

Человечество в целом, когда оно не страдает навязчивыми идеями,— простецкая честная шкура и легко ударяется в противо-

положную крайность; я даже думаю, что если сегодня оно разобьет свои теперешние легкие оковы, завтра оно с таким же энтузиазмом запросится в цепи. Когда смотришь со стороны, народ — жалкое зрелище. И сегодня мои крестьяне добродушно отказались от революции и, напротив, провозгласили здравицу в честь своего старосты; жаль только, что это торжество живых актеров обернулось горьким горем для моих деревенных.

А именно мы, руководители, проснулись на следующую ночь от шума, доносящегося из театра; сначала мы занедозрили соперничество из-за ролей или интриги в труппе, но, когда мы вздумали навести справку, мы нашли внизу старосту, которому я только что заново укрепил голову на туловище, с Олоферном в руках и в сопровождении судебных исполнителей, арестовавших всю труппу именем государства, так как она была объявлена политически опасной. Никакие мои уговоры не подействовали, и они у меня на глазах уволокли несколько царственных особ, вытащив их из ящика, как, например, Соломона, Ирода, Давида, Александра и проч. Такую неноследовательность проявляет государство, выступая против своих собственных представителей. Последней жертвой стал мой шут; ради него я унился до просьб, но мне объяснили, что строгим цензурным указом в государстве запрещена всякая сатира без исключения и заранее конфискуется поголовно. Едва-едва

удалось мне отойти с шутком на мгновение в сторону; я взял его за кулисы и, уединившись там, тайком поцеловал его деревянные уста и пролил вторую слезу в моей жизни, так как после Офелии он был единственным существом в мире, которое я действительно любил.

Мой соруководитель ходил весь следующий день, как во сне, а вечером не остался в долгу перед зрителями, которым была обещана трагикомедия: его нашли на сцене, где он повесился на облаке.

Так печально окончилось и это предприятие, и мне, уставшему от жизненных тягот, пришлось, наконец, всерьез добиваться солидного поста среди людей. В конце концов, нет на земле ничего выше сознания, что ты полезен и получаешь твердый оклад; человек — не только космополит, он еще и гражданин государства! Тут как раз открылась вакансия ночного сторожа, и я надеялся, что с честью могу претендовать на эту должность. Сегодня мир отличается образованностью, и от каждого гражданина по праву требуются большие таланты.

Хорошо тому, у кого есть связи; мне удалось найти доступ к слуге министра; слуга был в хорошем настроении и ходатайствовал за меня перед своим господином; так я начал подниматься по государственной лестнице, переходя из рук в руки, пока не добрался до верховного отростка, где отважился преклонить колени, и мне милостиво дали право надеяться на должность ночного сто-

рожа. Я не совсем провалился при первом испытании, которому меня подвергли, чтобы установить, не слишком ли громка моя дикция, чтобы я не тревожил монаршего сна, когда монарх спит, и достаточно ли она разработана и приятна, чтобы не оскорблять его музыкального слуха в бессонные ночи, порекомендовали мне впредь повышать свою квалификацию, и я имел счастье увидеть себя в должности ночного сторожа.



ШЕСТНАДЦАТОЕ БДЕНИЕ

Желал бы я разрисовать поотчетливее для всеобщего обозрения эту последнюю часть, хогартовский хвост моих ночных бдений, однако мне в ночи не хватает красок, и ничего, кроме теней да туманных образов, не летит на свет моего волшебного фонаря.

Когда мне хочется увидеть королей и нищих в одном развеселом братском сообществе, я брожу на кладбище по их могилам и представляю себе, как они мирно там лежат внизу, в земле, достигнув предельной свободы и равенства, и разве только сатирические сны снятся им, язвительно зная в пустых глазницах. Там, внизу, они братья, разве что наверху торчит из дерна замшелый камень с разбитым гербом дряхлого величия, тогда

как на могиле нищего произрастает лишь дикий цветок или крапива.

И в эту ночь я посетил мое излюбленное место, этот пригородный театр, где дирижирует смерть, разыгрывая неистовые поэтические фарсы вместо эпилогов к прозаическим драмам, не сходящим с придворной и мировой сцены. Было душно и тяжело, месяц только тайком проглядывал над могилами, перемежаясь иногда с голубыми молниями. Поэт предположил, что мир иной вслушивается в мир, почивший внизу; я же принимал это за насмешливый отголосок и тусклый обманчивый отсвет, передразнивающий поникшую жизнь еще некоторое время спустя; так умершее гнилое дерево дотлевает, еще светясь в ночи, пока не рассыплется в прах.

Я невольно задержался у памятника алхимикку; из камня смотрела мощная старческая голова, непонятные каббалистические знаки служили надписью.

Поэт блуждал некоторое время среди могил, заговаривая то с тем, то с другим черепом, валявшимся на земле; по его словам, он хотел воодушевиться, а я соскучился и заснул у памятника.

Во сне я услышал, как разразилась гроза, как поэт старался положить на музыку гром и сочинить к этой музыке слова, но тона не согласовывались, слова как будто разрывались, проносясь хаотически отдельными невнятными слогами. Пот выступил у поэта на лбу; осмыслить поэму природы не уда-

валось простаку, пробовавшему до сих пор свои силы лишь на бумаге.

Мой сон все запугивался. Поэт снова схватил свой лист и собрался писать, используя череп вместо пюпитра; он впрямь начал, и я прочитал заглавие:

ПЕСНЬ О БЕССМЕРТНИИ

Череп лукаво ухмылялся под листом, но поэт, не усматривая в этом ничего дурного, писал вступление, заклиная Фантазию диктовать ему. Сперва поэт набросал зловещую картину смерти, чтобы напоследок тем ярче расписать бессмертие, уподобив его светлому, сияющему восходу после глубочайшей, темнейшей ночи. Он совсем погрузился в свои грезы, не замечая, что могилы разверзлись вокруг него, и спящие в них ядовито посмеиваются, правда, оставаясь при этом недвижимыми. Поэт уже дошел до середины, до трубного гласа и до других приготовлений к Страшному суду. Он собрался было воскресить мертвых, но, словно нечто незримое удержало его руку, он оглянулся в изумлении, а внизу в своих спаленках они лежали тихонько да посмеивались, и никто не думал воскресать. Он снова схватил перо и подбавил пылу, подкрепив свой голос громом и трубным гласом,— напрасно, они внизу с отвращением вздрогнули и перевернулись на другой бок, чтобы спать спокойнее, показав ему свои голые затылки. «Где же Бог?»— дико вскричал он, и эхо громко и

отчетливо ответило: «Бог!» И поэт стоял, ошеломленный, грызя свое перо. «Эхо — дьявольское приобретение, — наконец молвил он, — никогда не разберешь, морочит ли тебя эхо или вправду кто-нибудь отвечает».

Он опять сел, но строк не было видно; тогда поэт вяло и почти равнодушно заткнул перо себе за ухо, монотонно говоря: «Бессмертные зауриямилось, издатели платят за листы, гонорары теперь скудные, подобной писаниной вряд ли заработаешь, пуцусь-ка я лучше снова в драматургию!»

При этих словах я проснулся, и поэт как бы покинул кладбище вместе с моим сном, зато рядом со мной сидела смуглая цыганка, словно внимательно вчитываясь в мои черты. Я почти ужаснулся при виде этой огромной фигуры с темным ликом, в которой как бы вписалась причудливая жизнь резкими кричащими письменами.

«Дай-ка мне руку, белячок», — сказала она таинственно, и я невольно протянул ей руку.

Чем надежнее владеет собой человек, тем нелепее представляется ему все таинственное и сверхъестественное, от масонского ордена до мистерий иного мира. Я содрогнулся впервые, когда женщина по моей ладони, как по книге, прочитала мне всю мою жизнь с того мгновения, как меня нашли вместо клада (см. четвертое бдение). Потом она добавила: «Надо бы тебе увидеть отца твоего, белячок; погляди-ка, он стоит позади тебя!» — Я стремительно обернулся, и мрачная каменная голова алхимика уставилась в ме-

ня. Цыганка положила на памятник руку и сказала со странной усмешкой: «Вот он! А я твоя мать!»

Семейная сцена, трогательная до безумия, — смуглая цыганка-мать и каменный отец, наполовину высунувшийся из земли, словно желая обнять сына и прижать его к своей холодной груди. Чтобы довершить семейную идиллию, я обнял обоих и сидел промеж своих родителей, пока женщина повествовала на манер уличной певицы:

«То было в рождественскую ночь, отец твой хотел заклясть нечистого, — он читал по книге, а я светила ему тремя наговоренными свечами, и под землей слышалась такая беготня, словно сама земля волнуется. Мы дошли до места, где отрекаются от неба и присягают аду, мы молча глядели друг на друга. «Давай развлечемся», — сказал этот каменный и прочитал все отчетливо вслух — донесся тихий смех, мы захохотали громко, не строить же из себя дурачков! И вокруг нас в ночи заколобродило, и мы увидели, что мы не одни. Не переступая очерченного круга, я прижалась к твоему отцу, и мы согрелись вместе, ненароком тронув знак земного духа. Когда дьявол явился, мы видели его полураскрытыми глазами — в этот момент возник ты! Дьявол был в духе и вызвался заменить крестного; он выглядел приятным кавалером в расцвете лет, и я удивляюсь, до чего ты похож на него; ты угрюмее, но от этого можно отвыкнуть. Когда ты родился, у меня хватило совести пере-

дать тебя в христианские руки, и я подкинула тебя тому кладонскателю, он тебя и воспитал. Вот история твоего рождения, белячок!»

Одни психологи могут представить себе, какой яркий свет вспыхнул во мне после этого рассказа; мне был вручен ключ к моему существу, и я впервые с изумлением и тайным трепетом отомкнул давно запертую дверь и, очутившись как бы в комнате Синей Бороды, не выдержал бы подобного зрелища, когда бы не мое бесстрашие. Это был опасный психологический ключ!

Я рекомендовал бы самого себя, каков я есть, искусным психологам для вывисекции и анатомирования в надежде посмотреть, вычитают ли они из меня то, что я тогда действительно читал,— моим сомнением я отнюдь не посягаю на престиж науки, высоко ценимой мною, поскольку она не жалеет усилий и времени, исследуя столь гипотетический объект, как душа.

Я хотел высказать вслух некоторые наблюдения над моей собственной природой, накопленные мною в тот миг, но цыганка изрекла, как оракул: «Ненависть к миру выше любви; кто любит, тот нуждается в любимом; кто ненавидит, тот довольствуется самим собой; ему не нужно ничего, кроме ненависти в груди!»

Эти слова заменили ей пароль: я признал, что она мне сродни. Немного погодя она молвила вполголоса: «Не худо бы проведать старичка, который там, внизу, проводит сам

над собой последний химический опыт! Он давно уже в земле, осталось ли что-нибудь от него? Давай поглядим!»— Сказав это, она прокралась по черепам и костям в склеп, принесла оттуда кирку и лопату и в таинственном молчании принялась копать землю.

Я оставил ее одну за этой необычной работой, потому что по кладбищу кто-то кружил, огибая могилы, как будто избегал встречных на своем пути, иногда улыбался, иногда отшатывался, в ужасе задрожав, и отбегал на несколько шагов, пока новая встреча не ужасала его. Когда я приблизился к нему, он схватил меня за руку и сказал, глубоко вздохнув: «Слава Богу, живой! Проводи меня до той могилы!» Я принял его за сумасшедшего и пошел с ним в ожидании развязки; то и дело он удерживал меня вблизи какой-нибудь могилы, чтобы я не касался воздуха над ней; наконец, как бы набравшись мужества, он отважился отдохнуть темного между тремя монументами; это были рухнувшие колонны, на плитах красовались имена почивших государей.

«Здесь можно побыть малость,— произнес он,— на этих могилах нет ничего, кроме камня и памятника, да и внизу, в земле, найдется разве что горстка праха вместе с короной и скипетром; эти большие господа разлагаются быстро, так как не знают меры в наслаждениях и уже при жизни в избытке насыщены земным».

Я посмотрел на него в изумлении, а он продолжал: «Вы меня, пожалуй, сочтете по-

лоумным, но вы ошибаетесь! Я не люблю ходить сюда, так как от рождения я наделен одним необычайным свойством и против моей воли на могилах вижу мертвецов, лежащих в них, вижу более или менее отчетливо, смотря по степени разложения*. Пока мертвое тело сохраняется внизу, передо мною явственно возникает на могиле образ мертвеца, и, по мере того как тело разлагается, видение постепенно исчезает в тумане и в сумраке; оно совсем улетучивается, когда могила пуста. Конечно, вся пространная земля — одно сплошное кладбище, только образы сгинувших предстают на ней в приятнейшем облики, расцветая прекрасными цветами, а здесь они все предстают явственно и глазуют на меня, так что я в ужасе отшатываюсь. Ничто не заставило бы меня посетить это место, но здесь мне назначено свидание».

«Вашей подружке следовало бы выбрать более уютный уголок», — осудил я неведомую красавицу, когда он остановился.

«У нее не было выбора, — ответил он. — Обитель ее здесь!»

Я понял его и уразумел все, когда он указал мне на одну отдаленную могилу. «Там, внизу, почнет она, умершая в самом расцвете, и только здесь мне дано посещать ее девичье ложе. Она улыбается мне уже изда-

* Пример такого оригинального духовидчества встречается, если не ошибаюсь, у Морица в журнале эмпирической психологии⁵⁴.

лека, и мне надо спешить; со временем образ ее все воздушнее, лишь улыбка на устах явно видна!»

«Вот уж, мягко говоря, странный роман, — вставил я, — кстати, влюбленный скучнее всех на земле!»

Мы зашагали дальше, и он бегло обрисовал на ходу силуэты лиц, населяющих жилища, мимо которых пролегал наш путь.

«Вот там придворный шут, он лежит целехонек, сохранив даже свои насмешливые гримасы. Вот поэт, ожидающий воскресения из мертвых, впрочем, от него мало что осталось, я вижу лишь легкое испарение, и мне приходится напрячь фантазию, иначе ничего не различишь. Вот мать с младенцем на груди, и мать и младенец улыбаются! (Я содрогнулся, это была могила Офелии!) Здесь рядышком лежат финансист и политик, оба изрядно подпорчены. А это, должно быть, могила знаменитого скушца, он цепляется за полу своего савана рукой, которой уже почти нет».

Мы пришли, и он попросил меня оставить его одного; только издали я видел, как он обнимает воздух, расточая пламенные поцелуи, диковинное свидание, что и говорить!

Между тем гадалка разрыла могилу моего отца, и трухлявый гроб выкарабкался из земли, лунный свет скользнул с любопытством по эмблемам и узорам, наполовину стертых; на крышке светилось, белея, распятие. Небывалое чувство охватило меня,

когда дряхлое седое прошлое снова заглянуло в настоящее и поднялась последняя колыбель моего отца, укачивавшая его долгий сон. Я не решился сразу поднять крышку и, чтобы набраться мужества, беседовал покуда с червем, которого я поймал, когда он копошился в земле подле гроба:

«Кроме фаворитов и ласкателей, еще целый народец благоденствует на груди величия: из этого народца производишь ты, подрыватель! Король питается лучшими соками своей страны, ты питаешься самим королем, чтобы, по словам Гамлета, препроводить его после путешествия по трем-четырем желудкам и обратно в лоно или, допустим, в брюхо верноподданным. Мозгами скольких королей и князей полакомился ты, жирный приживальщик, чтобы достигнуть подобной упитанности? Идеализм скольких философов ты свел к своему реализму? Ты наглядно и неопровержимо подтверждаешь реальную пользу идей, ибо ты откормлен мудростью стольких голов. Для тебя нет ничего святого, нет ни прекрасного, ни безобразного, ты все обвиняешь, Лаокоонова змея, знаменуя всю силу твоего превосходства над родом человеческим. Где глаз, чарующе улыбавшийся или грозно повелевавший? Ты, насмешник, один сидишь в пустой глазнице, оглядываешься дерзко и злобно, превращая в свое жилище и даже в нечто худшее голову, где прежде зарождались планы Цезаря и Александра. Что теперь этот дворец, вместивший весь мир и небо,

этот замок фэй со всеми своими любовными чарами и причудами, этот микрокосм, тающий зародыши всего великого и великолепного, ужасного и страшного, породивший богов и храмы, инквизицию и дьяволов, этот хвост создания, голова человеческая! — обиталище червя. О что такое мир, если все его помыслы ничто и все в них мимолетная греза! — Что все фантазии земли, весна, цветы, если фантазия развешивается под маленьким этим сводом, если здесь во внутреннем пантеоне все боги рушатся со своих пьедесталов, чтобы вселиться червям и тлению. Не льстите духу, приписывая ему независимость, — вот его разбитая мастерская, и тысячи нитей, из которых ткал он ткань мира, все разорваны, и мир вместе с ними. И старик здесь в своей ложнице, пожалуй, сбросил уже театральный наряд, и этот злодей в моей руке, быть может, как раз возвращается с пиршества, на котором он присутствовал в покоях моего отца; но — будь что будет — озлобленный, хочу я заглянуть в ничто и побрататься с ним, дабы избавиться от последних остатков человечности к тому времени, когда меня оно схватит!»

И моя дикая сила возросла настолько, чтобы приподнять крышку, не потому ли, что подобный гнев и злоба наряду с прочим предваряют ничто!

Не странно ли — когда открылась тихая ложница, в которой не чаял я обрести спящего, он лежал на подушке нетронутый, с

бледным строгим лицом и черными курчавыми волосами на висках и на лбу, образцовый бюст жизни, сохранившийся на редкость в подземном музее смерти, словно старый чернокожничник был готов превозмочь само ничто.

«Так он выглядел, когда заклинал черта,— сказала гадалка.— Только потом они скрестили ему руки, чтобы здесь он молился поневоле!» «А зачем он молится? — воскликнул я в гневе.— Там, над нами, в море небесном сверкают и плавают, правда, бесчисленные звезды, но если это миры, как утверждают многие умные головы, то там тоже черепа и черви, как здесь внизу; так продолжается во всей непомерности, и Базельская пляска смерти от этого только отчаяннее и веселее, да бальный зал просторнее. О, как они все бегают по могилам, по тысячеслойной лаве минувших поколений, как они скулят о любви, взывая к великому заоблачному сердцу, где можно было бы отдохнуть со всеми мирами! Не скулите — эти мириады миров проносятся в своих небесах, движимые одной только гигантской природной силой,— и у этой жуткой родительницы, родившей всех и самое себя, нет сердца в груди, она только раздаёт маленькие сердца для времяпрепровождения, держитесь этих сердец, любите, воркуйте, пока они еще держатся! Я не хочу любить, я хочу остаться холодным и недвижимым, чтобы хоть посмеяться, когда исполнская рука сокрушит и меня!

Кажется, старый чернокожничник посмеивается мне в ответ! Или ты, заклинавший дьявола, лучше осведомлен, и превыше этого разрушенного пантеона вознесется новый, великолепнейший, достигающий облаков, так что колоссальные боги, восседающие вокруг, действительно смогли бы выпрямиться, не разбив себе головы о низкий потолок; если это верно, тогда хвала уместна, и стоит посмотреть, как иной безмерный дух обретет безмерное поле деятельности, и ради собственного величия не будет он душить и ненавидеть, а взмоет в небо, свободно простирая свои сияющие крыла! От этой мысли меня почти бросает в жар! Только, по-моему, воскресать нужно не всем, нет, не всем! Что делать всем этим пигмеям и уродам в дивном и великом пантеоне, где должна царить лишь красота да боги! И на земле уже стыдишься такого жалкого общества, не разделять же с ними небо! Только вам подобает стряхнуть сон, великие, царственные головы, являющиеся с диадемами в мировой истории, и вы, вдохновенные певцы, восхищенные царственным и восславившие царственное! Другим лучше спокойно спать, и пусть им приснятся мягкие, приятные сны, желаю им этого от всего сердца!»

«С тобой, старый алхимик, я рад встать на этот путь; только не выклянчивай себе неба, не выклянчивай, лучше добейся его, если ты силен. Павшие титаны больше стоят, чем целая планета, переполненная

лицемерами, которые норовят проскользнуть в пантеон, прикрываясь убогой моралью и кое-какими добродетелями. Во всеоружии предстанем исполину миру иного; ибо, если мы не воздвигнем там нашего стяга, мы не достойны там обитать! Брось попрошайничать! Я силой разъединю тебе руки!»

«Горе! Ты всего-навсего маска и обманываешь меня? Я больше не вижу тебя, отец,— где ты? Я прикоснулся, и все распадается в прах, только на земле горстка пыли да парочка откормленных червей тайком ускользают, как высокоморальные проповедники, объевшиеся на поминках. Я рассеиваю в воздухе эту горстку отцовского праха, и остается — Ничто!»

«Там стоит на могиле духовидец и обнимает Ничто!»

«И в склепе напоследок слышен отголосок — Ничто!»





ДОПОЛНЕНИЯ

АЛЬМАНАХ ДЬЯВОЛА *

Братья мои! (это я обращаюсь к дьяволам) есть на свете немало занимательного и за пределами нашего царства, и сама земля тоже довольно-таки щедра на все, что может интересовать чертей в моральном или эстетическом отношении. Односторонность губительна для культуры; смотрите сами — все люди гонятся за универсальностью, сапожники забросили свои колодки¹, всякому придворному шведу не терпится научиться между делом кроить и государство, и все на земле спешат, каждый трудится не покладая рук (и ног, и головы тоже), каждый жаждет репрезентировать целое. Так что же, одним бесам отставать в этом стремлении ко всеобщности?! Нет, черт побори, нет!

* Кажется, все мыслимые альманахи уже изданы, — помимо исторических, поэтических и тому подобных вышло немало альманахов для женского пола, для элегантно-света и т. д. и т. п., так что неизбежно придется искать новую публику, почему мы и позволили себе бегло упомянуть «Альманах дьявола», выходящий в свет к Пасхальной ярмарке.

II, однако, худо обстоит дело с нашей образованностью, вообще еще не положено начало изящной литературе в том смысле, в каком о ней толкует Шлегель², — не положено начало и литературе безобразной (ввиду наших индивидуальных эстетических задатков я сомневаюсь, чтобы мы могли тяготеть к первой из названных)... Сознайтесь, братья! Мы вообще очень отстали, отчего люди уже и не боятся, и не уважают нас, они даже дерзают сочинять присказки на наш счет, — ах ты, черт! ах ты, чертяка! и т. п.

Смоем же с себя позор, а ради этого попытаемся добиться хотя бы малого в области эстетического и антиэстетического. Вместе с Жан-Полем я сомневаюсь, чтобы мы особенно преуспели в первом, хотя этот писатель признает за нами способность к юмору (вообще я его очень ценю — ведь он кое-что и для нас припас в своей сокровищнице: кроме золотоносной реки, текущей среди райских кущ, у него, как у Данте, с грохотом низвергаются в преисподнюю кипящие черные воды Стикса и Флегетона³), — вот только смех наш кажется ему мучительным, что, впрочем, хорошо согласуется с характером дьявола.

Так пусть же этот мучительный смех сотворит хотя бы самую малость в деле литературы. Для этой цели я и уведомляю о предстоящем издании — первом, предназначенном специально для бесов, причем я все же питаю в душе надежду, что в виде

контрабанды оно проникнет и на поверхность земли, счастливо миновав таможенников и охранников, и будет распространяться там через посредство книготорговли. А если судить по присущей нашей эпохи человечности,— она простирается и на дьявола,— то издание будет бесполезно и на земле: считается ведь, что смех выводит из организма яды, и это доказывают итальянские бандиты,— по рассказам, они пытаются свои жертвы щекоткой, заставляя их неумолчно смеяться, и таким способом добывают aqua toffana ⁴.

Напоследок обещаю, что буду вести себя в альманахе не так некультурно и дерзко, как черти былых времен,— для зла благогороженного это и вовсе неуместно,— и, напротив, буду по возможности стремиться к саксонскому изяществу манер, деликатно обращаясь с истиной. Она-то в соответствии с моим амплуа духа лжи все равно останется ложью (в этом мне успешно подражают земные писаки), так что в любом благонаправном адском обществе меня можно будет читать без малейшей опаски.

Если же в «Альманахе дьявола» откроется обратное тому, что я сказал, то, согласно вышензложенному, все уже будут знать, какой правды и лжи от меня ждать.

Дьявол

Ф.-В.-И. ШЕЛЛИНГ

ЭПИКУРЕЙСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ
ГЕЙНЦА УПРЯМЦА

Их слушать дальше — свихнешься,
братцы!
Снова придется разок подраться,
Возбудились чувства во мне опять,
Что совсем было начали погасать
От теорий всех этих надмирно-увылых.
Как ни старались творцы их, — не в
силах
Обратить меня были, — сия криница
Для тех, в ком не кровь течет,
а водица.

В толк не возьму я, как могут они
Рассуждать о религии целые дни.
Позволить возможно ли этим великим
умам
Рассудок и дальше туманить
в отечестве нам?
Убеждать всех отныне берусь
терпеливо,
Что то лишь сущностно, то правдиво,
Что можно и щупать, и обонять,
И, не постясь, не трудно мне понять,
Без всякого покаяния, тем более
умерщвления
Плоти в стремлении очищения.

Но они говорили с таким убеждением,
Что я временно был одолен сомнением,
Читал их «Речи»¹, читал «Фрагменты»²,

Стыдился даже в пные моменты
 Безбожности жизни своей и занятий,
 Покориться готов был, смириться и,
 кстати,

Верил, что сам смогу понемногу
 В посмеяние злу стать подобным Богу.
 Был весь без остатка, до основания
 Погружен в созерцание мироздания.
 Но мой юмор природный меня уберег
 От неправедных этих дорог.
 По старому снова направил пути,
 Словом, не дал себя провести.
 Над собой посмеиваясь слегка,
 Вновь сел на любезного мне конька,
 Что делом весьма оказалось нелегким,
 Не было в теле былой споровки,—
 Надо заняться им будет, в чем
 Мне помогут жаркое с вином
 Или что-нибудь в этом роде,
 Моей пользительное природе.
 И вот я снова здоров и зряч,
 В окруженьи женщины, в предчувствье
 удач.

Живу, улажаю драгое нутро,
 Улыбаюсь хитро и берусь за перо.

Я мысленно так рассуждал: вся суть
 В том, чтоб веры не дать в себе
 пошатнуть,
 Научившей меня не бояться преград,
 Телу жить помогавшей с душою в лад.
 Ах, что может сказать мне вся эта
 братия,
 Слова замелившая на понятия!

Напоказ всем мораль свою
выставляют,
Изреченьями умными шеголяют,
Старца, юношу и ребенка,
Всех стригут под одну гребенку.
Словом, католик пошел не тот,
Тем же, как все, он теперь живет.
Посему не хочу никаких религий,
К черту все пути и все вериги,
Не хожу ни ко всеобщей, ни к
заутрене,
Как внешне свободен стал, так и
внутренне,
Верю в чувство, что нами владеет
И о поэзии в нас радеет,
Что в сердце у нас пробуждает
волнение,
И в неустанном рвении,
В постоянном движении,
Преображаясь и обновляясь,
Тайной открытой миру являясь,
В бессмертный стих превращается
И к сердцам чужим обращается.
Только этому чувству верю,
Им одним все на свете мерю,
Лишь этой религии откровения
Не утратили смысла еще и значения,
В чертах ее, знаю, правда сокрыта,
Глубинная правда, что всеми почти
забыта.
Навсегда для себя все ложное
Отвергая как невозможное,
За речью красочной, фигуральной,
Она помнит о сущности изначальной,

Так что к шифрам ее можно ключ
 всегда
 Подыскать, приложив немного труда.
 Повторяю, вовек не сумеем мы осознать
 Того, что не можем мы осязать,
 Лишь та религия истинна и права,
 Коей камни дышат, цветы, трава,
 Та, что в металле живет и в полете
 птицы,
 Жажду свободы, света во всем
 пробудить стремится.
 И глубины морские о ней, и небесные
 своды
 Повествуют тайнописью природы.
 Согласен в распятии видеть грешной
 душе опору.
 Коль покажет мне кто-нибудь холмик
 какой иль гору,
 Где бы стоял в назидание нам
 Природой самой воздвигнутый божий
 храм,
 Где бы башни она до небес возвела,
 На магнитах подвесив колокола,
 Где распятия из кристаллов
 На алтарях средь просторных залов,
 Где бы в ризах с каймой-бахромой
 золотою,
 С дароносицею святою,
 Воплощеньем ученья, тверды и едины,
 Застыли бы каменные капуцины.
 Но так как я не сыскал до сих пор
 Подобного храма ни на одной из гор,
 Никому не позволю водить меня за нос,
 Был безбожником, и останусь.

Тот панцирь постылый он сбросить
 стремится,
 Не в силах вырваться из темницы,
 Сдаваться не хочет, поигрывает крылом,
 Спротивляется всем вутром,
 В живой природе и неживой
 Ищет сознанья заряд огневой;
 Чрез это боренье, чрез этот труд
 Из недр источники к небу бьют,
 Руда на поверхности громоздится,
 К сроку листве суждено

распуститься —
 Прорваться повсюду на свет пытается,
 Где только лазейку найти случается.
 Ни труда не жалея при этом, ни сил,
 Вон, смотрите, он в небо взмыл,
 Разрастается, пламенем выси лижет,
 Вот, затихнув, становится меньше,
 ниже,
 И ползет, и летает, использует все
 пути,

Образ истинный силится обрести.
 Так борясь ежедневно, упорно
 Со стихнею непокорной,
 Побеждать он учится на пространстве
 малом,

И пусть суждено стать его началом
 Существо не великому, тем не менее
 Красивы у карлика все движения,—
 Человеком назвав его и полюбя,
 В нем дух великий обрел себя.
 Ото сна воспрянув, оставив нещерный
 мрак,
 Сам себя не может узнать никак,

ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА
ПАСТОРА ИЗ ДРОТТИНГА,
ЧТО В ЗЕЛАНДИИ

Дряхлеющую плоть зовет земля,
Мое молчащее скоро вечным станет;
Но прошлое живет во мне, моля
Открыть его, — и прежней болью ранит:
О, как, Земля, свершиться ты дала
Кошунству, что со мной в безвестье
канет.

Светила Неба, коим несть числа,
Сверкающих созвездий вереница,
Вы ль станете утайщиками зла?
10 Постичь виденье — право очевидца,
Тогда зачем столь долго мой язык
Трусливо ложной клятвою томится?
Дай, Господи, чтоб в мой последний миг
Мне тайна эта дух не тяготила,
Чтоб этот лист читателя достиг,
Дабы в грядущем вечная могила
Деянье, что узреть случилось мне,
Со мною вместе не похоронила.
Свершилось то в полночной тишине,
20 Когда ярчает пламенный рассудка;
Я с Божьей книгой был наедине, —
Но вдруг вошедших двух слышал

чутко:

В них виделась открытая вражда
(Мне до сих пор об этом вспомнить
жутко),

Ужасны были эти господа,
Черны как почь: посланцы темной
власти.

- Заступники, где были вы тогда?
 Иль отрешились вы блаженной части
 В минуту эту — тем, кто шлет мольбу,
 30 Давать защиту от ночной напасти?
 Предвидя неизбежную судьбу,
 Я к свету душу обратил живую,
 Не в силах будучи вступить в борьбу.
 Но, ждавший встретить муку роковую,
 Что для меня измыслится врагу, —
 Я встретил то, о чем и повествую.
 С которых пор — припомнить не могу —
 Дряхлея во запустении унылом
 Старинный храм на ближнем берегу,
 40 Затем, что оказалось не по силам
 Отстроить после шторма в оны дни
 Деревню, погребенную под илом.
 Как раз туда проследовать они
 Велели мне. «Дорогой к тебе брачной
 Стопы свои, священник, затрудни», —
 Изрек один с ухмылкой многозначной;
 Сказал другой: «Вот золото, учти,
 Что ждет строптивцев жребий самый
 мрачный».
- Я поначалу не спешил идти,
 50 Но пред насилем смирился вскоре.
 С полмили было, кажется, пути.
 Лишь звезды неподвижные в просторе
 Струили скудный свет на мир ночной
 И глухо вдалеке шумело море.
 И мнился, будто голос позывной,
 Необъяснимо странный звук, доселе
 Не слышанный, как полагаю, мной.
 Мы наконец почти дошли до цели,
 Указанной сперва, — и каждый шаг

- 60 Для сердца был чем дале, тем тяжеле.
Один из провожатых сделал знак
И наложил повязку мне на очи,
Души моей усугубляя мрак.
Но, быть стараясь сколь возможно
кротче,
Молился я,— была совсем проста
Мольба: «Твоя да будет воля, отче».
Столь набожно во здешние места
Я прежде приходил неоднократно.
Вот — отворились древние врата;
70 Ведом рукою чуждой аккуратно,
Иду вслепую,— все же к алтарю
Дорога мне знакома и понятна.
Вот кто-то рядом встал,— его не зрю,
Но слуха наваждеенье не обманет;
Бессильный, лишь молитву я творю,
И мыслию одной мой разум занят,
От чувств уже оторванный вполне,—
Я думаю: когда конец настанет?
И говорю в ожившей тишине,
80 Гоня воображенные химеры:
«Вы, призраки, неведомые мне,
Коль скоро вы со мной единой веры,
Скажите, что же понуждает вас
Сойти в сей дольний мир от горней
сферы?
Когда ж вы слуги зла, то вам приказ:
Покоя места этого святого
Не алчьте осквернить в полночный
час!»
Но лишь промолвил все сие сурово,
Как, сердце раня, мой пронзило слух
90 Жестокое, чудовищное слово.

Поддерживать свой побежденный дух
 Уже не мог я, волю понуждая:
 Огонь протеста вспыхнул — и потух.
 Повязка зашуршала, ниспадая,
 И вижу я: пред алтарем — чета:
 Стоит в венке невеста молодая,
 В ней бледностью убита красота,
 Могильною, заведомо тлетворной;
 Жених — являет юные лета.
 100 За ними уходил во тьму просторный
 Срединный неф, и свещные огни
 Сияли в свежий зев могилы черной.
 Людьями был полон храм, и все они
 Несли черты какого-то отличья
 И были нам, казалось, не сродни, —
 Однако взором не умел постичь я,
 Что за народ здесь, из какой страны
 Идут одежды эти и обличья.
 И дрогнул воздух, ибо с вышины
 110 Запел орган; хотя мотив неведом,
 Но чувства были им потрясены.
 Не предвещая окончанья бедам,
 Над нами смолк неслыханный канон,
 И к алтарю толпа шагнула следом.
 И вот, повивоваться принужден,
 Увидел я, как юная невеста
 Мне дружелюбно отдала поклон.
 Тогда, поверя в добровольность жеста,
 Я руку девы жениху вручил,
 120 В ее дрожанье не поняв протеста.
 Зачем для службы мне достало сил,
 Зачем безблагодатный и печальный
 Пред алтарем союз благословил?
 Едва закончил я обряд венчальный

Почувствовал вскочившей на запятки.
 Очнулся я уже в своем дому,
 Там рухнул на постель, объятый
 жаром;
 Как задремал — и нынче не пойму.
 160 Наутро встал, разбит ночным кошмаром;
 Но солнце лишь взошло
 на небосклон,
 Уже стоял я перед храмом старым.
 Он был рассветным златом окаймлен,
 И ужасы полночного раздора
 Развеялись, казалось, словно сон.
 Что усмирило ужас мой столь скоро —
 Была ли то рассветная роса
 Иль тишина священного затвора?
 Покоем ли пленились очеса,
 170 Иль восхотели по возможной мере
 Смягчить мою тревогу небеса?
 Но стало сердце вновь открыто вере,
 Ночной кошмар исчез, как жуткий
 лик,
 И я во храм открыл спокойно двери.
 Но, чуть в него поспешно я проник,
 Могила в центре нефа мне предстала.
 Я хладный камень сдвинул в тот же
 миг,
 И там, виденью страшному нимало
 Не веря, — о предвечный судия!
 180 О беспощадно ранящие жала! —
 Ночной невесты лик увидел я,
 Со смертью мной повенчанной дотоле.
 Зачем не знает зренья забвения?
 Зачем рассудок не угас от боли?
 Зачем вы, губы, живы до сих пор?

Ты, сердце, для чего в земной юдоли
Живешь само себе наперекор?

К чему терзаюсь мукою бескрайной,
Которой не умею дать отпор?

190 Наедине с трагической тайной
Зачем живу так много долгих лет,
Своей судьбой томясь необычайной?

Теперь, когда мой век идет на нет,
За то напутствие невесте мрака
Я призван почему держать ответ?

Блажен любой, кто прожил жизнь
иначе,

Ктопил ее, как влагу родника,
Не чувствуя всевидящего зрака;

О, как, я это знаю, велика
Неистощимой милости криница,
Господних благ бескрайняя река!

На милость гнев Твой, Боже, да
сменится,

Прощение Твое да обрету,
Душа моя тоской да не томится;
Лишь Ты восстанавлиешь правоту,—

Не осуди же грешные моления:
Не дай погибнуть этому листу,
Прими меня в блаженные селенья.



ПЕСНЯ

О камень драгоценный,
Твой свет везде,
на всем.

Смысл слышу
сокровенный

Я в имепи твоём.

Игрой улыбки краткой
В небесной вышине
Умеешь ты так сладко
Утишить сердце мне.

Как юно над хребтами
Встают твои черты!

Но вслед за облаками
Уходишь вдаль и ты.
Уводишь в мир

цветенья,

Зовешь во глубь
долин,

Я жаждал

наслажденья,

И вот я вновь один.

Не задержу тебя я,
Помедли в тишине!

Из мира исчезая,

Твой свет живет
во мне.

Тобою жить,

стремиться

Твою постигнуть
власть,

УДЕЛ ЗЕМЛИ

Столь неразлучны ужель война и любовь
в этом мире?
В счастье неужто ему не обрести тишины?
Да, это так! Погляди: меж Марсом вершит
и Венерой
Невозмутимо свой путь в пеще тревожном
Земля.
Так же и ты, сын Земли, упорно стремишь
к своей цели,
Неутомимо трудясь в царстве войны
и любви.

1801





ПРИЛОЖЕНИЯ



КТО НАПИСАЛ РОМАН
«НОЧНЫЕ БДЕНИЯ»?

Книга вышла под псевдонимом «Бонавентура» в начале 1805 г. в серии «Журнал новых немецких оригинальных романов», выпускавшейся издательством «Динеман». Первоначально на нее не обратили внимания, и только в нашем веке она обрела широкую известность: в ней увидели предвосхищение прозы экспрессионистов, Кафки, Гессе. В прошлом столетии она была издана три раза, в нынешнем — двадцать три.

У нас эта книга почти неизвестна. Лишь в 1979 г. в двухтомнике «Избранная проза немецких романтиков» впервые появились из нее отрывки. В академической пятитомной «Истории немецкой литературы» она даже не упоминается. Настоящее издание является первой публикацией полного текста романа «Ночные бдения» на русском языке.

Кто автор книги? Попытки ответить на этот вопрос породили огромную литературу, вызвали споры, не прекращающиеся и по сей день. Я познакомлю читателя с основными вехами дискуссии и постараюсь обосновать собственную позицию.

Псевдоним «Бонавентура» принадлежал Шеллингу, и при жизни философа никто не сомневался в его авторстве. (Под этим псевдонимом Шеллинг напечатал в «Альманахе муз на 1802 год» четыре стихотворения.)

Вскоре после выхода книги Жан-Поль Рихтер писал своему знакомому: «Прочтите „Ночные бдения“ Бонавентуры, т. е. Шеллинга»; книга, мол, стоит того, «она таит в себе большую силу и требует того же от читателя»¹. Родственник Рихтера К. Шпадир редактировал «Газету для элегантного света», где за полгода до выхода «Ночных бдений» был напечатан небольшой отрывок из книги, и, думается, Жан-Поль должен был знать, кто скрывается под псевдонимом.

Другое свидетельство — через сорок лет. Фарнхаген фон Энзе записал в своем дневнике 17 августа 1843 г.: «Читаю роман Шеллинга «Ночные бдения»². В отличие от Ж.-П. Рихтера, книга ему не понравилась: по его мнению, это был «слабый продукт».

Литературные справочники начала прошлого века идентифицировали Бонавентуру с Шеллингом³. Шеллинг не отрекался от псевдонима. Мне удалось обнаружить убедительное тому свидетельство. Это сборник новелл его друга Г. Стеффенса, где в качестве приложения перепечатано стихотворение Шеллинга «Последние слова пастора» (одно из четырех, впервые увидевших свет

¹ *Richter J.-P. Hist.-krit. Ausgabe. Abt. 3. B., 1961. Bd. 3. S. 20* (здесь и далее все цитаты в моем переводе. — А. Г.).

² *Varnhagen K. A. von Ense. Tagebücher. Leipzig, 1861. Bd. 2. S. 206.*

³ См., напр.: *Raßmann E. Kurzgefaßtes Lexicon deutscher pseudonymer Schriftsteller. Leipzig, 1830. S. 27.* Здесь читаем: «Бонавентура: Фр. Вильг. Йоз. фон Шеллинг. . . Ночные бдения. Пеннг. 1805».

в «Альманахе муз»). В предисловии Стеффенс пишет: «Это замечательное стихотворение, написанное Бонавентурой (господином действительным тайным советником фон Шеллингом в Мюнхене), напечатано в виде приложения, после того как автор специально для этой цели заново внимательно просмотрел текст и любезно передал его для опубликования»⁴.

К 100-летию юбилею со дня рождения Шеллинга в 1875 г. появилась работа Х. Бекера, который не сомневался в принадлежности «Ночных бдений» Шеллингу. Он привел любопытное свидетельство: филолог Э. Ласо спросил однажды Шеллинга, он ли написал «Ночные бдения», и в ответ услышал: «Не говорите мне об этом»⁵. Так отвечают, когда неприятно о чем-либо вспоминать: чтобы отказаться от авторства, достаточно сказать «нет». Почему Шеллингу было неприятно вспоминать о романе, постараюсь объяснить ниже.

В 1877 г. появилось второе издание «Ночных бдений», и четыре года спустя еще одно. В предисловии к обоим изданиям утверждалось, что роман написан Шеллингом.

⁴ *Steffens H. Novellen. Breslau, 1837. S. 11.* Еще одно свидетельство того, что современники считали Шеллинга автором романа: Александр Юнг, хорошо знавший Шеллинга, рассказывая о своей встрече с философом летом 1838 г. и перечисляя написанное им, упоминает «Ночные бдения» (см.: *Schelling im Spiegel seiner Zeitgenossen/Hrsg. von X. Tilliette. Torino, 1974. S. 411*).

⁵ *Beckers H. Schellings Geistesentwicklung in ihrem inneren Zusammenhang. München, 1875. S. 93.*

И сообщалось, что в библиотеке Фарнхагена существовал экземпляр первого издания с дарственной надписью Шеллинга А. В. Шлегелю⁶.

Существует свидетельство, согласно которому в старости Шеллинг скупал оставшиеся экземпляры первого издания и уничтожал их. «Он хотел, чтобы ничто не напоминало ему о книжке времен его „Бури и натиска“, и скупал через букинистов немногие ее экземпляры, не попавшие в макулатуру. Заполучив их, уничтожил... Охотнее всего он отказался бы от своего детища»⁷.

В конце концов Шеллинг добился своего — его лишили отцовства. Первым, кто поставил под сомнение его авторство, был Р. Гайм. В 1870 г. появился его фундаментальный труд о немецких романтиках, в котором Гайм «не решается утверждать», что «Ночные бдения» принадлежат перу Шеллинга, «на следующем основании: в третьей главе рассказывается история прелюбодеяния, а героиней этой истории оказывается какая-то Каролина»⁸. Жена Шеллинга послала это имя, и «такой гордый человек», как Шеллинг, не мог внести в свое произведение подобную историю. В 1903 г. в журнале «Эфорнион» появилась статья, уже решительно отрицавшая авторство Шеллинга. Ее автор Р. М. Майер ссылаясь на устное свидетельство известного философа и зна-

⁶ См.: *Nachtwachen von Bonaventura*. В., 1881. S. VI.

⁷ *Meißner A. Mosaik*. В., 1886. Bd. 2. S. 19.

⁸ *Гайм Р.* Романтическая школа. М., 1891. С. 539.

тока немецкой классики В. Дильтея, якобы заявившего по поводу «Ночных бдений»: «Во всей книге нет и следа своеобразия, присущего Шеллингу, которое заметно даже в малых его вещах; здесь встречаются такие тривиальные места, которые вообще у него немыслимы; здесь веет настроением, от которого философ в 1805 году так решительно отмежевался, что полностью исключена какая-либо дополнительная публикация признаний, выдержанных в этом плане»⁹. Майер назвал в качестве возможного автора «Ночных бдений» Э. Т. А. Гофмана. Гипотеза эта и по сей день имеет своих сторонников.

В 1909 г. вышла книга Ф. Шульца «Автор Ночных бдений Бонавентуры», где также решительно отметалась возможность того, что злополучный роман был написан Шеллингом. «Зрелый Шеллинг 1804 года, выходящий в строгом научно-академическом облике, в зените своей славы, аристократ духа, принадлежащий к вершинам идеалистической эпохи, устремленный на умозрительное обоснование тайн высшего художественного творчества, связанный с Гете узами личной дружбы и общего мировоззрения, пронизанный честолюбивым сознанием значения своей личности и озабоченный своей персональной репутацией, не мог иметь дело с молодым издателем»¹⁰. И далее: «Разве

⁹ Euphorion. (1903). N 10. S. 579.

¹⁰ Schultz F. Der Verfasser der Nachtwachen von Bouaventura. В., 1909. S. 83.

можно найти у Шеллинга взгляд на мир и на жизнь Бонавентуры? Обнаружим ли мы у него хотя бы след той отчаянной разорванности и дисгармонии, мрачного пессимизма и нигилизма, отращения к миру и презрения к людям, которые есть в «Ночных бдениях»? Замкнутый и уверенный в себе философ романтики прочно стоит на земле»¹¹. И еще одна цитата: «Так же, как содержание философских высказываний Бонавентуры, чужда Шеллингу и их форма. Неужели можно предположить, что уверенный в себе и своем учении носитель философии романтизма мог бы пронизировать над собой устами ночного сторожа: «Вы, философы, сказали ли что-нибудь более важное, чем то, что вам нечего сказать?»¹²

Как я постараюсь показать далее, все подобные утверждения беспочвенны. Интересно, однако, отметить, что Шульц был единственным, кто пытался хоть как-то обосновать свой отказ от Шеллинга как от автора «Ночных бдений». В дальнейшем все писавшие об этом романе принимали рассуждения Шульца на веру. О Шеллинге уже не вспоминали: вопрос казался решенным не в пользу философа. Свою задачу исследователи видели теперь только в том, чтобы найти автора осиротевшему произведению. Сам Шульц выдвинул кандидатуру малоизвестного литератора Ф. Г. Ветцеля. Гипоте-

¹¹ Ibid. S. 139.

¹² Ibid. S. 140.

за эта держалась довольно долго, вошла в справочники, пока П. Паульзен не опроверг ее¹³. Сначала Паульзен склонялся к тому, чтобы увидеть автора романа в Генрихе Клейсте, затем выдвинул предположение, что книгу написал ее издатель — Динеман. В качестве других возможных «претендентов» на авторство фигурировали Клеменс Брентано, Жан-Поль Рихтер, Георг Лихтенберг и другие менее заметные имена. Спор тянулся десятилетиями.

Многим он показался законченным в 1973 г., когда два литературоведа независимо друг от друга назвали в качестве автора «Ночных бдений» Августа Клингемана (1777—1831), литератора столь же незаметного, как и Ветцель, театрального деятеля, впервые осуществившего постановку на сцене «Фауста» Гете. Йост Шиллемайт обнаружил дословное совпадение части одной фразы и ряд общих мотивов в «Ночных бдениях» и в сочинениях Клингемана¹⁴. Хорст Флайг, узнавший из печати 1 октября 1973 г. о работе Шиллемайта, отправился на следующий день к потариусу, чтобы заверить наличие у него незавершенной ру-

¹³ См.: *Paulsen W.* Bonaventuras Nachtwachen im literarischen Raum // *Jahrbuch der deutschen Schillergesellschaft*. Stuttgart. 1965. Bd. IX.

¹⁴ Речь идет о примечании в восьмом бдении, где поясняется, что протагонист «во времена Феспида вместе с хором составлял фактически всю трагедию». См.: *J. Schillemeit.* Bonaventura. Der Verfasser der «Nachtwachen». München, 1973. S. 27.

кописи на эту тему, которую могли у него получить все желающие¹⁵. Только в 1985 г. вышла его книга¹⁶. Анализ Флайга строится на «микростилистике» — статистическом подсчете употребления тех или иных слов.

Ряд германистов приняли версию Шиллемайта и Флайга. Однако авторитетные исследователи отнеслись к его книге настроенно и критически¹⁷. Основное возражение (как и в отношении кандидатуры Ветцеля) состояло в том, что Клингеман — второстепенный, эпигонствующий литератор, а текст Бонавентуры выдает сильный, оригинальный талант, философскую культуру и эрудицию, глубокую мысль. Что касается дословного совпадения фразы из одиннадцати слов, то ведь можно выдвинуть и другое предположение: может быть, не они попали из статьи Клингемана в «Ночные бдения», а наоборот — им они заимствованы из третьего источника. Тем более, что фраза эта есть пояснение, приведенное в сноске.

Сомнение усилилось после того, как Д. Викман провел по собственной методике сравнительный статистический анализ «Ночных бдений» и трех романов Клингемана.

¹⁵ *Fleig H. Zersprungene Identität: Klingemann // Nachtwachen von Bonaventura. Rohmanuskript. 1974.*

¹⁶ *Idem. Literarischer Vampirismus. Klingemanns Nachtwachen von Bonaventura. Tübingen, 1985. Aurora. Würzburg. 1974. Bd. 34. S. 96—100; The Germanic Review. Columbia University Press. 1974. Vol. XLIX. P. 240—243.*

В трех романах полученный результат совпадает, резко отличаясь от результата, полученного при анализе «Бонавентуры»¹⁸.

Полемику с гипотезой об авторстве Клингемана содержит книга А. Мильке «Современник Бонавентура». Здесь интересен разбор романа А. Клингемана «Альбано», появившийся в 1802 г. Мильке приходит к выводу, что оба романа не мог написать один и тот же человек: «Альбино» — это низкопробный «кич»¹⁹. И. Р. Хантер-Лоухид также считает, что «духовная позиция Клингемана резко отличается от Бонавентуры»²⁰.

1987 г. принес неожиданную сенсацию: в одном из голландских архивов была обнаружена автобиография Клингемана, написанная чужой рукой, но с авторской правкой. В числе своих работ Клингеман собственноручно указывает «Ночные бдения Бонавентуры». Рут Хааг, опубликовавшая этот

¹⁸ *Wickmann D.* Zum Bonaventura-Problem. Eine mathematisch-statistische Überprüfung der Klingemann-Hypothese // *Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik*. 1974. Heft 16. S. 13—29. Известный советский специалист по атрибуции текстов математическими методами профессор М. Тарлинская, ознакомившись с работой Д. Викмана, нашла, что примененная автором методика вполне корректна, а выводы заслуживают доверия.

¹⁹ *Mielke A.* Zeitgenosse Bonaventura. Stuttgart, 1984. S. 173. Согласно Мильке, автор «Ночных бдений» — Жан-Поль.

²⁰ *Hunter-Louheed R.* Die Nachtwachen von Bonaventura. Ein Frühwerk E. T. Hoffmanns? Heidelberg, 1985. S. 41.

материал в журнале «Эфорион», датирует его 1830 г. «Подлинность рукописи не вызывает сомнений», — считает она и заключает свою заметку утверждением: «Вопрос об авторстве „Ночных бдений Бонавентуры“ вследствие этой находки может считаться решенным»²¹.

Не слишком ли поспешен такой вывод? Факты — упрямая вещь. Но и невероятно податливая! Внешне все ясно: Шеллинг отказался от авторства, Клингеман признал его. Но вспомним, как в «Преступлении и наказании» Раскольников отрицал свою вину, а мастеровой Миколка признался в убийстве старухи. Для суда признание обвиняемого не является неоспоримым доказательством. Суд истории в этом отношении не составляет исключения.

Меня прежде всегостораживает то обстоятельство, что в название романа оказался включенным и псевдоним автора. Для человека, написавшего книгу, она всего-навсего «Ночные бдения», ибо «Бонавентура» — он сам, ее создатель.

Но важнее, конечно, другое — содержательная сторона дела. Доказать, что Клингеман — интеллектуальная величина, невозможно. Остается только поставить под сомнение духовную ценность «Ночных

²¹ Haag R. Noch einmal: Der Verfasser der Nachtwachen von Bonaventura // Euphorion. 1987. Heft 3. S. 296. Отклики на эти публикации пока мне неизвестны.

бдений», низвести роман до уровня его предполагаемого создателя. Именно так и поступает Шиллемайт. О «Ночных бдениях» он пишет: «Эта книга — такова очевидность — все, что угодно, только не произведение самостоятельного гения»²². С этим утверждением хочется поспорить. Заодно показать, что роман «Ночные бдения» совсем не нигилистичен, как это принято считать. А также высказать некоторые дополнительные соображения, указывающие на возможность того, что он написан Шеллингом или, во всяком случае, при его участии.

В первой повелле, открывающей книгу, описана смерть вольнодумца. Он умирает в кругу любящей и скорбящей семьи, исполненный высоких чувств, которые не желает замечать присутствующий при кончине католический священник, нудно и безуспешно пытающийся вернуть вольнодумца в лоно церкви. Патер пугает умирающего дьяволом, грозит атенсту муками ада. Умирающий улыбается и качает головой. «Дикое безумие охватило тут попа, которому его рассказ уже показался слишком слабым, и он заговорил в первом лице от имени дьявола, что вполне соответствовало его личности... Больному стало немощно. Он мрачно отвернулся и увидел три весенние розы, которые расцвели рядом с его постелью... Ему

²² Schillemeit J. Bonaventura. Der Verfasser der «Nachtwachen». S. 99.

протянули детей, и он, напрягшись, поцеловал их, затем положил отяжелевшую голову на пышную грудь женщины, издал легкий возглас, скорее страсти, чем боли, и уснул любящий в объятиях любви... Сцена была слишком прекрасна». Кто рискнет назвать это цинизмом и нигилизмом?

Только тот, кто не может помыслить дурного о католическом патере. Как раз в период, непосредственно предшествующий появлению «Ночных бдений», у Шеллинга в Вюрцбурге отношения с католической церковью сложились самые неблагоприятные. Сначала его обвинили в «мистике», затем в «атеизме», против него велась травля в печати, вюрцбургский епископ запретил католикам посещать лекции Шеллинга. «Вы можете приблизительно представить нынешнюю ситуацию: партия духовенства ненавидит меня, и молодым клирикам, которые ходят на мои и проф. Паулюса лекции, угрожают отлучением от церкви. Само по себе это не важно, но не мне, который всеми силами души стремится здесь к миру и согласию»²³.

А перед этим была нелегкая пора в Мёне: еще более гнусная травля в печати, скандальный развод Каролины, его будущей жены, со вторым ее мужем, А.-В. Шлегелем, обвинения, будто он (Шеллинг) уморил ее дочь. Настроение Каролины вскоре после

²³ Schelling F. W. J. Briefe und Dokumente. Bonn, 1975. Bd. III, S. 47.

того, как Каролина и Шеллинг вступают в брак, было не безоблачным: «После того как мы приняли решение, я спокойна, меня можно назвать почти счастливой, и я чувствую себя значительно лучше. Все позорные обвинения, которые за этим последуют, устные и печатные пасквили и тому подобное меня не тронут. Я попросила только моих, чтобы они не приставали ко мне с соображениями, заимствованными из другого мира, а не из этого, в котором я существую. Из этого мира мне ничего не надо, и я знаю его слишком хорошо... Создается впечатление, что мерзавцы и бесчестные подонки берут верх. Начиная с Коцебу, который в Берлине почти министр, сложилась божественная система всемирных низостей»²⁴.

Каролина важна для нас не только как зеркало настроений мужа. Ее духовный мир, ее устремления имеют самостоятельное значение для интересующей нас темы: в «Ночных бдениях» заметно ее присутствие. Муза пенских романтиков, обладавшая сильным характером, тонко чувствовавшая, литературно одаренная, писавшая рецензии и шуточные стихи, она была своеобразным ферментом творчества и А.-В. Шлегеля, и Шеллинга. То, что она принимала участие в написании статей и того и другого, доказано. Порвав с А.-В. Шлегелем, она воз-

²⁴ *Caroline. Briefe aus der Frühromantik. Leipzig, 1913. Bd. 2. S. 356.*

будила ненависть его брата Фр. Шлегеля и Новалиса и платила им тем же. Шеллинг, принадлежа к иенскому кружку, с самого начала находился в своеобразной оппозиции к главным его представителям. В «Ночных бдениях» заметна и близость к романтизму, и стремление преодолеть его, показать его со смешной стороны, пародировать его, взглянуть на жизнь трезвыми глазами.

Для Шеллинга как автора не характерна какая-то одна, раз навсегда найденная манера. Он всегда искал, экспериментировал. Он написал «à la Спиноза» (его собственное выражение) труд, который считал основополагающим, — «Изложение моей философской системы», по строго пронумерованным параграфам: положение, пояснение, добавление, — как знаменитая спинозовская «Этика». Но уже продолжение этой работы создано в иной, более свободной манере. А почти одновременно возникший трактат «Бруно» напоминает по стилю платоновские диалоги. Причем, испытав себя в какой-либо новой литературной форме, он никогда к ней не возвращался, искал новое.

У него была сатирическая жилка, и он однажды блеснул в пародийно-сатирическом жанре. Я имею в виду написанную в 1799 г. поэму (320 строк) «Эпикурейские воззрения Гейнца Упрянца». Судите сами:

А из всего остального, что знаю,
Католическую веру я выбираю.
Ту, что была в стародавнее время
И не лежала на людях как бремя.
В те времена — ни споров, ни брани,
Сидели все дома и знали заране,
Что бог небесную твердь сотворил
И обезьяну нам подарил.
Считали Землю центром мира,
А центром Земли — Рима порфиру.
В Риме сидел наш господин
И управлял миром один.
Поп и приход припеваючи жили,
Сколько хотели ели и пили.
В другую теперь мы живем эпоху,
От бывшего величья — одни только крохи,
И самый благочестивый католик
Страдает, как все, от желудочных колик.
Вот почему я от церкви отрекся,
Слушать проповеди зарекся,
Не хожу на исповедь в божий храм
И не советую вам.

Иронические эскапады против католицизма направлены по адресу Новалиса, написавшего в 1799 г. статью «Христианство, или Европа», которая полна ностальгии по добрым старым временам, когда одна-единственная вера объединяла континент. Поэма Шеллинга вызвала первый разброд в пенском кружке романтиков. Сначала было решено напечатать в «Атенеи» (органе кружка) и статью, и поэму, потом же напечатали ни того, ни другого.

Поэма не увидела света при жизни Шеллинга и не попала в полное собрание сочинений. Но Шеллинг (во всяком случае, в Вюрцбурге) продолжал ценить свою богохульную поэму. 28 сентября 1805 г. Каролина подтверждает обещание переписать поэму и выслать ее Виндишману. В декабре того же года она пишет ему же: «Вот уже две недели, как рукопись приготовлена для... Ни я, ни Шеллинг не забыли о ней, но Шеллинг хотел бы еще раз проглядеть ее, вот она и лежит как заколдованная... Шеллинг только что пришел и увидел меня занятой отправкой письма, взял стихи, которые я так чисто переписала, и начал править, и теперь это выглядит совсем плохо и будут отличные опечатки, если дело дойдет до публикации»²⁵. Следовательно, в 1805 г. Шеллинг не «отмеживался решительно», как считал В. Дильтей, от своих прежних настроений и сочинений.

Поэма написана в манере Ганса Сакса (это отмечали друзья Шеллинга, читавшие рукопись). Нам следует об этом вспомнить потому, что Ганс Сакс и Якоб Бёме вдохновляют героя «Ночных бдений». Шеллинга, получившего пиетистское воспитание, Бёме вдохновлял всегда.

Антипатия Бонавентуры — Ифлянд и Коцебу. Шеллинг крайне отрицательно относился к обоим — прочтите его переписку. Журнал Коцебу «Прямодушный» (следы

²⁵ Ibid. S. 416.

прочтения которого заметны в «Ночных бдениях») непрестанно нападал на Шеллинга. Философ внимательно читал этот журнал и на писания Коцебу ответил двумя ядовитыми рецензиями²⁶.

И еще в одного человека метит Бонавентура — в Новалиса. Автор имеет в виду роман «Генрих фон Офтердинген» и цикл стихов «Гимны к ночи». В центре «Гимнов к ночи» — встреча поэта с умершей возлюбленной. В «Ночных бдениях» по кладбищу бродит некий ясновидец, которому ясно видны мертвецы, лежащие в могилах: кто спит, а кто еще не совсем. Он приходит на могилу возлюбленной со словами: «Там внизу она, умершая в своем расцвете, и только здесь мне дано посещать ее девичье ложе. Она улыбается мне уже издалека».

В «Гимнах к ночи» Новалис писал:

Чужбине больше я не рад,
Хочу домой, к отцу, назад.

В «Ночных бдениях» эта метафора пародийно реализуется. Сторож раскапывает могилу отца, вскрывает гроб — «он лежит на подушке нетронутый, с бледным строгим лицом». Уже заходит речь о воскрешении, но тут все распадается в прах; «только на земле горстка пыли да парочка откормленных червей тайком ускользает, как высоко-

²⁶ См.: Rezensionen über schöne Literatur von Schelling und Caroline. Heidelberg, 1912. S. 13—24.

моральные проповедники, объевшиеся на поминках. Я рассеиваю в воздухе эту горстку отцовского пепла, и остается Ничто». Это опять-таки не «нигилизм», а всего лишь насмешка над Повалисом.

Теперь сопоставим то, что нам уже известно о «Почных бдениях», с одним трагическим фактом дальнейшей биографии Шеллинга. В сентябре 1809 г. в расцвете сил скоропостижно умерла его жена. Вот описание смерти Каролины: «Последние дни ее были спокойны, она не чувствовала ни власти болезни, ни приближения смерти. Она умерла так, как этого всегда хотела. В последний вечер ей стало легко и радостно, всыхнула снова вся красота ее любвеобильной души, прекрасные звуки ее голоса звучали, как музыка, душа витала еще над оболочкой, которую должна была покинуть. Она уснула утром 7 сентября тихо, без борьбы, сохранив даже в смерти свое очарование: мертвая она лежала, слегка повернув голову, с выраженном света и сердечного умиротворения на лице»²⁷.

В этом отрывке из письма Шеллинга есть загадочная фраза: «Она умерла так, как этого всегда хотела». Значит, они не раз говорили на эту тему. Сохранились ли следы их разговоров? Мне приходит в голову только одно — смерть вольнодумца в «Почных бдениях». Может быть, я ошибаюсь,

²⁷ *Caroline. Briefe aus der Frühromantik. Bd. 2. S. 569.*

но, перевернув еще несколько страниц переписки Шеллинга, встречаю слово «ночные бдения». Шеллинг сообщает брату Каролины, что летом 1809 г. он много болел, и ночные бдения у его ложа измучили Каролину, подорвали ее силы. Полагаю, что, вспоминая о своей покойной жене, Шеллинг невольно, неосознанно возвращался к их совместному литературному детищу. Детей у них не было.

«В Каролине жила пророческая душа, она сама не знала об этом», — уверял Шеллинг. Не могу отделаться от мысли, что в «Ночных бдениях» Каролина описала свою будущую смерть. В диалоге «Клара», возникшем уже после того, как не стало Каролины, Шеллинг снова вернулся к теме смерти, исполненной красоты. И к теме бессмертия, которая впервые начнет его волновать. В 1804 г. Шеллинг не верил в личное бессмертие. В своей работе «Философия и религия» он писал: «Душа, которая непосредственно связана с телом, являясь продуктивным его началом, разрушается вместе с ним»²⁸.

Какая злая, страшная пропня судьбы! В «Ночных бдениях» не знавший горя Шеллинг потешался над Новалисом, который тосковал по умершей возлюбленной и пытался реально представить себе общение с потусторонним миром. Вспоминать о том,

²⁸ Schelling F. W. J. Sämtliche Werke. Bd. 6. S. 60.

как он богохульствовал в молодости и как судьба жестоко наказала его, Шеллингу, видимо, было тягостно. Вот почему, очевидно, когда много лет спустя его спросили об авторстве «Ночных бдений», он отрезал: «Не говорите мне об этом» Вот почему он и уничтожал уцелевшие экземпляры романа.

Роман «Ночные бдения» написан человеком большой философской культуры, прекрасно знающим Канта и Фихте, явным сторонником шеллингианской философии тождества, провозгласившей преодоление односторонностей идеализма и реализма. Идеалист и реалист — полоумные в психиатрической больнице, где коротал свои дни герой «Ночных бдений». А вот еще пассаж из «Ночных бдений» на эту волнующую Шеллинга тему: «Городской поэт, проживавший на чердаке, принадлежал к идеалистам, которых насильно... превращали в реалистов». И еще один (обращение к могильному червю): «Идеализм, скольких философов ты обратил в свой реализм?» Шеллинг любил играть словами «идеализм» и «реализм». В статье, посвященной кончине Канта (начало 1804 г.), он сравнивал французскую революцию с философией Канта: их причиной был один и тот же дух, «проявившийся соответственно различному характеру народов там в реальной, а здесь в идеальной революции»²⁹.

²⁹ Schelling F. N. J. Sämtliche Werke. Bd. 6. S. 4.

В «Системе трансцендентального идеализма» Шеллинга есть сравнение всемирной истории с театральным спектаклем. «Раз история представляется нам таким сценическим действием, в котором каждый участник совершенно свободно и по своему усмотрению ведет свою роль, то разумность всего этого представления в целом мыслима лишь в том случае, если существует единый дух, творящий здесь через всех, и притом этот дух, по отношению к которому отдельные актеры представляются лишь разрозненными частями, должен уже заранее привести в гармонию объективный ход действия в целом с выступлениями каждого в отдельности, чтобы в конечном итоге могло получиться нечто действительно разумное. Но если бы сочинитель оказался отделенным от своей драмы, то мы превратились бы в актеров, лишь повторяющих то, что он сочинил. Но поскольку он зависит от нас, раз его откровение и обнаружение сводятся к сумме свободно разыгрывающихся актов нашей свободы так, что если бы не существовало последней, не было бы и его самого, то мы становимся соавторами целого и сами творим те особые роли, которые каждый из нас выбирает себе»³⁰.

Сравните этот пассаж со следующим диалогом в «Ночных бдениях». Сторож го-

³⁰ Schelling F. W. J. System des transzendentalen Idealismus. Hamburg, 1957. S. 271.

ворит актеру: «Забавно бы поглядеть в качестве зрителя последний акт трагикомического спектакля мировой истории, можно получить огромное удовольствие, когда в конце всего сущего ты сможешь в качестве последнего человека на все наплевать...»

«Я бы плюнул,— ответил человек печально,— если бы сочинитель не включил меня в пьесу в качестве действующего лица, этого я ему никогда не прощу».

«Тем лучше! — воскликнул я.— Ты можешь в самой пьесе устроить бунт. Первый герой восстает против своего автора. Ведь и в малой комедии, которая копирует большую всемирную, бывает, что герой перерастает своего сочинителя так, что тот ничего с ним не может сделать».

Театр и сумасшедший дом — две главные эпостаси человеческого бытия. Они сливаются воедино в четырнадцатом «бдении», где рассказчик, в прошлом актер, игравший в придворном театре роль Гамлета, сообщает о том, как он встретил и полюбил актрису, исполнявшую роль Офелии. Встретил в психиатрической больнице, где оба оказались пациентами. Офелию мучает вопрос, возникающий при чтении Канта: есть что-нибудь «само по себе» или все только слова и фантазия? «Помоги мне прочесть мою роль до самого начала, до самой себя,— просит она Гамлета.— Есть ли во мне что-нибудь помимо моей роли или все только роль, и „я“ в том числе?» Гамлет убеждает ее: все только роль, все только театр, играет ли ко-

медиант на самой земле или на два метра повыше — на сцене, или на два метра пониже — в могиле. «Быть или не быть?» — теперь он такого вопроса себе не задаст. Раньше его смущала мысль о бессмертии и он боялся смерти: сыграв свою роль в по-сторонней комедии, попасть в новую, по-стороннюю, — упаси боже! Теперь он знает: за смертью нет вечности. Увы, Офелия разубеждает его. Умирая (не на сцене, а в жизни), она говорит: «Роль кончается, но „я“ остается, они хоронят только роль... Я люблю тебя, это последние слова в пьесе, и из моей роли я постараюсь запомнить только это лучшее место в пьесе, остальное пусть они предадут земле».

Сравнение мира с сумасшедшим домом есть в статье И. Капта «Конец всего сущего». Бонаventura прекрасно знает эту статью, заимствует оттуда и метафорическую картину «конца времени». Вместо того чтобы возвестить наступление определенного часа, почной сторож провозглашает «конец времени», приближение Страшного суда. Поднимается паника. «Кровопийцы и вампиры допосили на самих себя, требовали для себя смертной казни и ее немедленного исполнения здесь, внизу, чтобы избежать наказания Всевышнего. Гордый глава государства впервые стоял униженно и почти раболепно с короной в руке и говорил комплименты оборванцу в предвидении грядущего всеобщего равенства.

Слагались чины, награды и ордепа, их

недостойные владельцы спешили собственно-ручно от них избавиться. Духовные пастыри торжественно обещали своей пастве в будущем напутствовать не только благими словами, но и благим примером, если только на этот раз господь ограничится одним увещанием».

Излюбленный прием Бонавентуры — взять философскую идею и изложить ее образно, реализовав метафору. Есть, например, в «Ночных бдениях» многозначительная новелла о двух братьях — холодном доне Хуане и пылком доне Инесе. Первый воспылал страстью к жене второго. Не встретив взаимности, он отомстил жестоко. Ночью послал к Инесе ее пажа, разбудил брата и сказал, что жена изменяет ему с юношей. Инесе убил жену, пажа и себя. Три смерти на совести дона Хуана.

Этой «испанской» истории предшествует описание спектакля в театре марионеток с тем же сюжетом. После самоубийства обманутого брата искуситель решает заколоть себя, но рвется нить, на которой пляшет марионетка, и рука застывает с поднятым кинжалом. Затем шут рассуждает о свободе воли: здесь в театре все совершается по воле того, кто управляет куклами. Не так ли в жизни? Нетрудно увидеть в основе этих двух притч шеллингианскую антиномию свободы: человек обладает свободой воли, несет полную ответственность за свои дела и в то же время он всего лишь орудие в руках судьбы.

Бонавентура — сторонник шеллингианской эстетики. Искусство — великий дар, только пусть оно не претендует на первенство по сравнению с природой. «На вершине горы посреди Музея природы они воздвигли еще один, поменьше,— для искусства... Иногда у меня возникают свои художественные капризы, добрые или злые, и я из великого хранилища перехожу в малое, чтобы взглянуть на то, как человек что-то прилежно строит и вырезывает, полагая, что он поднимается над природой, не пытаясь, однако, вдохнуть в свои произведения главный элемент всего живого: саму жизнь».

Бонавентура знает естествознание, причем как раз те проблемы, которые волновали Шеллинга. Прежде всего это идея органической эволюции, происхождения человека от обезьяны. Есть в тексте любопытное примечание: «Один естествоиспытатель выдвинул гипотезу, согласно которой первые насекомые были всего лишь тычинками растений, отделившимися случайно». Не называя Эразма Дарвина и обходясь без кавычек, Бонавентура полностью воспроизводит здесь его слова из поэмы «Храм природы»³¹. (Может быть, в подобном способе цитирования лежит разгадка дословного совпадения другого примечания со статьей Клингемана, на что обратил внимание Шиллемайт!) А в книге лекций Шеллинга 1804 г. «Система всей философии»

³¹ См. примеч. к «Песне второй» в кн.: *Дарвин Э.* Храм природы. М., 1954. С. 86.

говорится: «Тычинки растений обладают непосредственной восприимчивостью к свету, как и насекомое, которое в высшем своем преображении представляют собой свободно летающую тычинку»³².

Обратимся к трактату Шеллинга «О мировой душе», желательнее ко второму изданию 1806 г. Здесь не только неоднократно упоминается имя Дарвина, но идет речь о «переходе от растений к животным»³³. Над вторым изданием Шеллинг работал в период возникновения «Ночных бдений». И написал специально для него вступление «Об отношении идеального и реального в природе».

Теперь такой вопрос. Соответствует ли духу Шеллинга («выступающего в строгом научно-академическом облике», по определению Ф. Шульца) та «ночная романтика», «поэзия ужасов» и «чертовщина», которая присутствует на страницах «Ночных бдений»? Есть в романе сцена расправы с согрешившей монахиней, которую заживо хоронят в церкви. У профессора Шеллинга можно пойти и такое. Выше уже говорилось о четырех стихотворениях, опубликованных Шеллингом под псевдонимом «Бонавентура». Все они удивительно разны. Здесь пезатейливая «Песня», два стихотворения, написанных гекзаметром, — «Цветок и тварь» и «Удел земли»: одно излагает некую на-

³² Schelling F. W. J. Sämtliche Werke. Bd. 6. S. 413.

³³ Idem. Von der Weltseele. Hamburg, 1806. S. 229.

турфилософскую концепцию, другое носит назидательный характер. И четвертое — романтическая баллада — «Последние слова пастора из Дроттинга, что в Зеландии».

Сюжет баллады заимствован из новеллы Г. Стеффенса. Ночью к деревенскому пастору пришли два незнакомца в черном и под угрозой оружия заставили его следовать за ними в церковь. Там увидел он молодую пару, а рядом с ней — вскрытый пол и выкопанную могилу, а вокруг скопление странных людей со странной речью. Ему приказали исполнить обряд бракосочетания. Затем с завязанными глазами увели прочь. В храме раздался выстрел. Рано утром священник вернулся в церковь, нашел место, где вчера была вырыта могила, снял плиты, поднял крышку гроба и увидел умерщвленную невесту. В повелле Стеффенса этой истории был придан «документальный» фон: о происшествии немедленно сообщили властям, прибыл чиновник и велел молчать, — возможно, все происшедшее было как-то связано с событиями в России, где развертывалась борьба за престол. Шеллинг убрал высокую политику и сгустил «романтические» тона: его священник всю жизнь хранил ужасную тайну и только перед своей кончиной решил поведать о странном преступлении, совершенном в его церкви.

«Поэзия ужасов» не была чужда Шеллингу. Что касается «чертовщины», бесконеч-

ных упоминаний о дьяволе на страницах «Ночных бдений», то они станут понятнее, если вспомнить снова о жене Шеллинга Каролине. Шиллер называл ее «мадам Люцифер». За Шиллером это повторяли многие, супруги были в курсе дела и не могли не реагировать на слова Шиллера.

«Альманах дьявола» — так должно было называться второе крупное прозаическое произведение Бонавентуры. В марте 1805 г. в «Газете для элегантного света» (где в свое время был напечатан анонс «Ночных бдений») появился отрывок из новой книги, а также обещание, что сама книга выйдет к пасхе. Книга не вышла. Потому ли, что разорилось издательство «Динеман», или потому, что Шеллинг покинул Вюрцбург, переехал в Мюнхен, где его ждали новые дела, или потому, что философ не любил возвращаться к уже однажды опробованному жанру. Не будем гадать.

Отметим лишь одну забавную деталь — новеллу о супружеской неверности. Некая Каролина, жена судьи, объясняет любовнику, как проникнуть в ее дом. Разговор подслушал ночной сторож и сам спешит в дом судьи. Когда супруги разошлись по спальням, страж поднимает тревогу. Любовники теряют сознание, а наш герой открывает хозяину глаза. Он не хотел бы, однако, чтобы по отношению к незадачливому доижуану применили суровую статью Каролины (уголовного уложения императора Карла). Судье невдомек, о какой Каролине идет речь, и

далее следует игра слов. Кройцганг судье: «Я понимаю, почему Вы спутали двух Каролин: Ваша живая Каролина — это крест и пытка супружеской жизни, ее можно легко принять за ту другую, которая посвящена вещам, также далеко не сладостным. Можно даже сказать, что семейная Каролина пострашней императорской, ибо последняя не означает пожизненной пытки».

В свое время Р. Гайма покорило то обстоятельство, что в новелле, повествующей о супружеской неверности, жена судьи носит имя Каролины: едва ли мог написать такое о своей жене «аристократ Шеллинг». Мне же как раз это место, особенно игра слов с сентенцией по поводу «пожизненной пытки», которая связана с семейной Каролиной, кажется вполне в духе супругов Шеллинг, только что соединившихся в своей любви. Оба они молоды и остроумны. Каролина могла оценить остроу мужа, а может быть, она ее сама придумала. (Ведь придумала же она шуточное обязательство, где оговаривает условия своего сотрудничества с мужем: «Нижеподписавшаяся обещает за 100 фл. (сто гульденов) переписать не только то, что она уже переписала на сегодняшний день, но и переписать еще и все то, что ей придется переписать до 31 мая 1807 г. из тех рукописей, что ее супруг отдаст в печать или сохранит для себя». А Шеллинг, пародируя стиль Фридриха II, «ратифицировал» соглашение: «Ратифициро-

вано моей суверенной властью над моей женой. Фредерик»³⁴.

Каролина Шеллинг писала рецензии умные и остроумные. Некоторые подписаны инициалами BSS, что можно расшифровать как Бэмер, Шлегель, Шеллинг (Бэмер — фамилия Каролины по первому мужу). Одна — инициалами ML (Мадам Люцифер?). На одну статью следует обратить особое внимание. Это помещенный 6 мая 1805 г. в «Новой иенской литературной газете» критический разбор сборника берлинских романтиков «Альманах муз на 1805 год». Упомянув об аналогичном издании 1802 г., Каролина приводит псевдонимы его авторов — Новалис, Бонавентура, Инхуманус. Если бы недавно выпеденные «Ночные бдения» (произведение более значительное, чем четыре стихотворения, опубликованных под этим псевдонимом) и только это анонсированный «Альманах дьявола» принадлежали другому автору, а не ее мужу, Каролина вряд ли могла бы обойти молчанием это обстоятельство.

В 1980 г. во время командировки в ФРГ мне довелось трижды выступить с докладом об авторстве «Ночных бдений». В Тюбингене высказанная мной точка зрения получила поддержку, в Гейдельберге мнения разделились, а в Мюнхене Шеллинговская комиссия Баварской Академии наук признала возможным рассмотреть вопрос о вклю-

³⁴ *Caroline*, Briefe aus der Frühromantik, Bd. 2. S. 498.

чении «Ночных бдений» в полное собрание сочинений Шеллинга в разделе «Dubia».

Наибольшее внимание из приведенных аргументов привлекла рецензия Каролины на «Альманах муз». Действительно, Каролина не могла бы не откликнуться на появление повести Бонавентуры. А может быть, она просто ничего не знала о «Ночных бдениях»? Доктор В. Шихе (Мюнхен) снабдил меня доказательствами того, что издательство «Динеман» широко рекламировало свою продукцию, и в частности «Ночные бдения». Роман, оказывается, был в свое время отрецензирован. Причем рецензент угадал в Бонавентуре начинающего писателя, сильная сторона которого состоит не в юмористике, а в «серьезном повествовании»³⁵.

Доктор Шихе передал мне копию забытой ныне работы Э. Экерца, автор которой предлагал считать автором «Ночных бдений» Каролину Шеллинг. Он проводил убедительные параллели между перепиской Каролины и текстом романа. Один из аргументов в пользу участия Каролины или присутствия ее при создании «Ночных бдений» мне показался особенно убедительным и вполне в духе

³⁵ Neue Leipziger Literaturzeitung. 1805, 23. Aug. Текст моего доклада был опубликован как в ФРГ («Philosophisches Jahrbuch». 1983, 1. Halbband), так и в ГДР («Deutsche Zeitschrift für Philosophie». 1984, N 11), вызвав как положительные («Information Philosophie». 1986, N 1), так и критические («DZFPH». 1985, N 4) отклики.

супругов Шеллинг. В конце романа появляется мать героя, цыганка. В оригинале стоит «*Böhmerweib*», что можно прочесть и как «жена Бэмера», каковой Каролина была по первому мужу. Шеллинга Каролина уверяла (в письмах к нему), что любит его по-матерински³⁶.

Доктору Л. Додерлайну (Мюнхен) я обязан указанием на новый важный документ, недавно им опубликованный в книге Э. Клесман «Каролина», — отрывок из неизвестного ранее письма профессора Х.-Е.-Г. Наулюса (коллеги Шеллинга по Вюрцбургскому университету) от 17 ноября 1803 г. Приковывают внимание три фразы: «Шеллинг стал невидимкой. Мы не видим его ни дома, ни в городе. Говорят, что он пишет роман, который уже в Иене заполнил, хорошо ли, плохо ли, его свободное время»³⁷. В тексте примечание: «Что подразумевается под «романом» Шеллинга, неясно». Хочется надеяться, что написанное выше вносит некоторую ясность в проблему, возвращает Шеллингу принадлежащий ему роман. Принадлежащий если не полностью, то хотя бы частично.

В памяти русского читателя «Почных бдений» невольно встает роман Ф. Одоев-

³⁶ *Eckertz E.* *Nachtwachen von Bonaventura. Ein Spiel mit Schelling und Goethe gegen die Schlegels von Caroline* // *Zeitschrift für Bücherfreunde*. 1905. Heft 5.

³⁷ *Kleßmann E.* *Caroline*. München, 1975. S. 250,

ского «Русские ночи». Переключку между «Русскими ночами» и «Ночными бдениями» можно обнаружить прежде всего в заглавии. Также и в жанре. То и другое называется «роман», но представляет собой цикл новелл, лишенных единого сюжета, объединенных лишь общей философской идеей, критическим пафосом по отношению к духовной ситуации эпохи, заботой о судьбе человека и верой в исцеляющую силу любви.

Интерес к «ночной стороне» человеческой жизни пробудил у Одоевского Шеллинг, его работа о самофракийских божествах, где отмечено, что ночь — древнейший объект поклонения, что исчисление времени у многих народов, в том числе и славян, первоначально велось по количеству ночей; соответствующая ссылка, как и на многие другие работы Шеллинга, украшает «Русские ночи». О «Ночных бдениях» там ни слова. Но известно, что Одоевский был в добрых отношениях с Фарихагеном фон Энзе (переводчиком его произведений на немецкий), который, мы это знаем, в 1843 г. читал «Ночные бдения» как раз в то время, когда Одоевский придавал окончательную форму своему произведению, над которым работал многие годы. Книга вышла в 1844 г. На первых же ее страницах — панегирик Шеллингу «В начале XIX века Шеллинг был тем же, чем Христофор Колумб в XV: он открыл человеку неизвестную часть его мира... его душу!» Одоевский пре-

красно знал Шеллинга, был лично знаком с ним.

Не будет преувеличением сказать, что значение настоящей публикации выходит за пределы германистики, проливая дополнительный свет на один из замечательных памятников отечественной словесности.

ПРИМЕЧАНИЯ

НОЧНЫЕ БДЕНИЯ

Роман был выпущен в свет издательством Ф. Динемана в серии «Журнал новых немецких оригинальных романов», с двойной датой — на титульном листе серии стоял 1804 г., на отдельном титульном листе романа — 1805 г. Издательство располагалось не только в маленьком саксонском городе Пениге, но и в Санкт-Петербурге, столице Российской империи. Известно, что издательство Ф. Динемана, указывая эти два города в качестве своего местопребывания, поступало так с полным правом, — существует рассказ о позорном изгнании владельца издательства из Петербурга в 1806 г. за ввоз книги, не разрешенной здесь к продаже. Таким образом, деятельность издательства относится к малоизвестным пока сторонам русско-немецких культурных отношений. Можно для примера указать на издававшийся в те же годы немецкий журнал «Константинополь и Санкт-Петербург», среди авторов которого встречаются и литераторы, сотрудничавшие в серии издательства Ф. Динемана.

21 июля 1804 г. в весьма популярной лейпцигской «Газете для эlegantного света» был (вероятно, в рекламных целях) опубликован фрагмент «Ночных бдений» — «Пролог Гансвурста к трагедии „Человек“», а 26 марта 1805 г. там же был издан текст под названием «Альманах дьявола», также нечто вроде рекламы будущего издания, которое, однако, не состоялось. Никто не сомневается в том, что Бонавентура — автор «Ночных бдений» и сочинитель «Альманаха дьявола» — одно и то же лицо.

Полный текст романа был в XIX в. большой редкостью (в 1877 г. он был, впрочем, переиздан); напротив, в XX в. его издавали чрезвычайно часто.

Из изданий начала века выделяется издание под редакцией Э. Франка (1912), который воспроизвел в новом наборе все особенности первого издания, включая опечатки и перевернутые буквы, и тем самым создал нечто подобное репринту оригинала (не осуществленному, кажется, и по сей день). Из изданий последних десятилетий примечательно вышедшее под редакцией В. Паульзена в штутгартском издательстве «Филипп Реклам юниор» (Bonaventura. Nachtwachen/Hrsg. von W. Paulsen. Stuttgart, 1964), постоянно возобновляемое; оно включает в себя и «Альманах дьявола». По этому тексту выверены включенные в русское издание тексты.

Популярность книги в XX в., помимо ее очевидных литературных достоинств, объясняется оживленно обсуждаемой проблемой ее автора. Такая дискуссия разгорелась в начале века, перед первой мировой войной,— тогда были предложены, в качестве кандидатов в авторы книги, и самые немыслимые по всем соображениям имена писателей, среди них Жан-Поль, Клеменс Брентано, Э.-Т.-А. Гофман. Тем не менее, когда споры об авторе «Ночных бдений» разгорелись с новой силой,— в последние 10—15 лет,— эти же и многие другие писатели были выставлены в качестве возможных авторов вторично, причем нередко доказательства занимают толстые тома. Подробнее об этом можно прочитать в настоящем издании в статье А. В. Гулыги. Поскольку в основе всех известных доказательств лежат позитивистские приемы сбора отдельных фактов, доводов, параллелей, как правило, без внимания к целому и без внимания в стилистический облик произведения, уместно сослаться на старинный отзыв выдающегося немецкого литературоведа-позитивиста Вильгельма Шерера (1841—1886), который, рецензируя переиздание «Ночных бдений» (в 1877 г.), конечно, не мог догадываться о тех бурях споров, какие разразятся над этим сочинением впоследствии, и позволил себе положиться на свой здравый смысл и стилистическое чутье: «Это произведение вполне укладывается в развитие Шеллинга. Как в известном стихотворении Шеллинга

«Последние слова пастора из Дроттинга», перед нами разворачиваются мрачные картины смерти; вспоминаешь, что как раз в это время натурфилософ обратился к практической философии, что он поставил перед собою цель исследовать начало зла в природе, что к этому началу он относил прежде всего смерть, что на историю он в это время взглянул как на великую трагедию, разворачивающуюся на трагических подмостках мира сего <...> За привычным аппаратом романтической литературы встают глубокие мысли; изложение никогда не бывает тривиальным по тону; поэзия, искусство, государство, философия, мир материальный и духовный — этим не исчерпывается интерес автора <...>» (*Scherer W. Kleine Schriften. B., 1893. Bd. 2. S. 254*).

Необходимо предварить отдельные примечания следующим замечанием. Стилистической особенностью текста «Ночных бдений», — кстати говоря, чрезвычайно затрудняющей поиски его подлинного автора, поскольку можно без конца спорить об ее непреднамеренности или, наоборот, о глубоко ироничной преднамеренности, — является то, что почти все без исключения имена собственные, названия произведений, даже пословицы, которые встречаются в тексте (и вообще все, что в нем можно комментировать), принадлежат к культурному языку этого времени, начала XIX в., вообще, непрерывно упоминаются в текстах этого времени, фигурируют в них в качестве своего рода престижных марок, или показателей культурного уровня. Всегда это «одни и те же» имена и названия произведений, — их репертуар довольно широк, но все же замкнут и, как представляется, достаточно обзорим для того, чтобы, например, можно было ставить вопрос о создании общего лексикона таких имен для немецких литературных текстов начала XIX в. Это же означает еще и следующее: подобные имена, встречаясь в таких текстах, никогда не отсылают к личному опыту автора, с одной стороны, к самой культурной реальности, с другой. Подобно тому, как гомеровский Стентор или библейские «сыны Енаковы» по просту входят, в качестве имен нарицательных, в

Journal

von

neuen deutschen Original Romanen

in 8 Lieferungen jährlich

Dritter Jahrgang. 1804

Siebente Lieferung.

№ 417 a 418.

Preis 1804

bei J. Neumann und Comp.

*Титульный лист издания 1805 г.
«Ночных бдений» Бонавентуры*

немецкий язык той эпохи, точно так Корреджо или Брейгель Адский служат в «культурно-приподнятом» немецком языке того времени общими знаками известных типов художественно-эстетической реальности, какие вошли в общий опыт людей того времени, но, так сказать, на знаковом уровне, без раскрытия своей внутренней сущности, без необходимости ее раскрывать,— все эти явления, как знаки, как бы украшают интерьер сознания людей того времени. Все эти знаки в тексте «Ночных бдений» — не личный, а общий, типичный опыт эпохи; при этом искусственность автора в области таких знаков на деле велика.

- ¹ *Стентор* — см. в «Илиаде» (V, 775): «Стентора, мощного, медноголосого мужа, так вопиющего, как пятьдесят совокупно другие» (пер. Н. И. Гнедича). Автору монолога, который мнит себя громогласным мужем, грезится в высоте не столько «поэт-неудачник», сколько бог, не столько поэт как «второй бог», сколько бог «первый», — к нему он и обращает свои кощунственные речи.
- ² *...адский Брейгель...* — Брейгель Младший Петер (ок. 1564—1638), голландский художник.
- ³ *Корреджо* (наст. имя — Антонио Аллегри, 1494—1534) — итальянский художник, которого в Германии рубежа XVIII—XIX вв. ценили почти наравне с Рафаэлем, выделяя в его творчестве особенно «Святую ночь» (Дрезден).
- ⁴ *Бёме* Якоб (1575—1624) — немецкий философ-мистик; смерть Бёме описана его биографом Абрагамом фон Фрауенбергом. См. примеч. 15.
- ⁵ *...как в опере «Дон Жуан»...* — Имеется в виду сцена появления статуи Командора в опере Моцарта.
- ⁶ *...Ниоба со своими детьми...* — Знаменитая скульптурная группа античности (известная по римской копии). Согласно греческой мифологии, Аполлон и Артемида умертвили детей Ниобы в наказание за то, что она похвалялась ими пред богами.
- ⁷ *...доктору Галю...* — Галль Франц Йозеф (1758—1828) — медик, основатель краниологии (учения

о строении черепа), бравшийся определять способности человека по форме черепа и выступавший с демонстрацией своего метода по всей Европе.

- ⁸ *...в манере Иффланда или Коцебу...*— Иффланд Август Вильгельм (1759—1814) и Коцебу Август (1761—1819) — два самых плодовитых и популярных немецких драматурга рубежа веков; Иффланд, кроме того, весьма галантливый актер берлинских театров.
- ⁹ *Юстиниан* — византийский император, при котором в VI в. был оформлен свод законов римского права — основа юридического образования на долгие века.
- ¹⁰ *...приговаривает Каролина...*— Каролина (Carolina) — здесь сокращенное название уголовного законодательства императора Карла V (Constitutio criminalis Carolina); это название смешивается с именем жены персонажа.
...in effigie — т. е. символически (казнь совершалась над изображением).
- ¹² *...ultra crepidam.*— Обрывок поговорки: ne sutor supra crepidam (из Плиния Старшего) — сапожник, оставайся при своих колодках, не суйся не в свое дело.
- ¹³ *...ни в чем не преступая его границ.*— Толкование гравюр напоминает широко известные толкования гравюр Хогарта, принадлежащие немецкому писателю Г. К. Лихтенбергу (1742—1799), а также приложенное к «Кампанской долине» Жан-Поля (1763—1825) «Толкование гравюр на дерево к десяти заповедям Катехизиса» (1799).
- ¹⁴ *...масленичные действия Гасса Сакса...*— Фастнахтшпили немецкого поэта-мейстерзингера эпохи Реформации (1494—1576).
- ¹⁵ *...читаю я «Утреннюю зарю» Якова Беме...*— «Аврора, или Утренняя заря» (1612) — наиболее известное теософическое сочинение Якова Бёме. Как и Ганс Сакс, Бёме был сапожником.
- ¹⁶ *...его творения скопились бы на хогартовском «хвосте»...*— Хогарт Вильям (1697—1764) — английский художник, карикатурист, гравёр (в Гер-

- мании особо известный благодаря книгам Лихтенберга).
- 17 ...кровавый призрак Банко.— В «Макбете» Шекспира.
- 18 ...actus solennis...— Торжественный акт (лат.).
- 19 ...caput mortuum...— Мертвый осадок, букв. «мертвая голова» (лат.: алхимический термин).
- 20 ...in puris naturabilis...— В чистом виде (лат.).
- 21 ...watchman's noctuaries...— Ночные часы сторожа (англ.).
- 22 ...lex cruciata...— Закон скрещивания (лат.).
- 23 ...воздвигнуть кущи, поэтические или библейские, достойные горы Фавор...— Гора, на которой совершилось преображение Господне (Матф. 17, 1—9; Марк. 9, 2—9; Лук. 9, 28—36).
- 24 ...выгоняли из церквей за то, что я там смеялся...— Подобные же мысли возникают у персонажей Жан-Поля и Клеменса Брентано примерно в те же годы. За этим стоит мучительный душевный конфликт, типичный для психологии этого периода истории.
- 25 ...сыны Енаковы...— «Народ многочисленный и великорослый» (библейское: Втор. 9, 2); обычно в значении — неотесанные грубияны.
- 26 ...advocatus diaboli...— Адвокат дьявола (лат.) — лицо, на которого в процессах канонизации святых в римско-католической церкви возлагалась обязанность собрать все дурные сведения о личности святого. Быть своим собственным «адвокатом дьявола» значит выступать с самообвинениями.
- 27 ...corpora delicti...— Вещественные доказательства (лат.).
- 28 ...in praxi...— На деле, на практике (лат.).
- 29 ...iniuria oralis...— Устное оскорбление (лат.).
- 30 ...foro privilegiato...— Особому суду (лат.).
- 31 ...во времена Феспиды...— Феспид (VI в. до н. э.) — создатель греческой трагедии.
- 32 ...заставили меня, как Уголино, голодать в этой величайшей голодной тюрьме...— Автор основывается не на «Божественной комедии» Данте, а на драме Г. В. фон Герстенберга «Уголино»

- (1760). Сюжет распространен в немецкой литературе XVIII в.
- ³³ ...согласно доктору Дарвину...— Дарвин Эразм (1731—1802) — английский ученый, дед Чарлза Дарвина, автор поэмы «Храм Природы» (1803).
- ³⁴ «Триумф чувствительности» Гете.— «Драматический каприз» (1787), как определил жанр сам Гете.
- ³⁵ ...gorge de Paris...— Букв. «парижская грудь» (фр.).
- ³⁶ Автор «Ночных бдений» использует один из постоянных мотивов литературы того времени — посещение больницы умалишенных. Автор пародирует этот мотив с социально-критическими намерениями. См.: *Bennholdt-Thomsen A., Guzzoni A. Der Irrenhausbesuch: Ein Topos in der Literatur um 1800 // Aurora: Jahrbuch der Eichendorff-Gesellschaft. Würzburg, 1982. Bd. 47. S. 82—110.*
- ³⁷ ...pot de chambre...— Ночной горшок (фр.).
- ³⁸ Формат в шестнадцатую долю листа.
- ³⁹ ...vice versa...— Наоборот (лат.).
- ⁴⁰ ...privatim...— Частным образом (лат.).
- ⁴¹ ...Kох импровизирует в ночи на губной гармошке...— Исполнитель-виртуоз на губной гармошке, упоминаемый и в произведениях Жан-Поля.
- ⁴² Это братья оттолкнули Иосифа...— Реминисценция из библейской Книги Бытия — рассказ об Иосифе, проданном братьями в рабство.
- ⁴³ ...сон кладет брату на руки статую брата...— Брат сна — смерть. Сон (Гипнос) и Смерть (Танатос) — по-гречески мужского рода; см. прекрасный рисунок немецкого художника Асмуса Якоба Карстенса «Ночь с ее детьми», созданный в середине 1790-х годов.
- ⁴⁴ Кто не знает солнечного орла, пролетающего через новейшую историю! — Этот орел — вероятно Наполеон.
- ⁴⁵ ...внутреннюю душу культуры...— Так здесь иронически назван желудок.
- ⁴⁶ Гемстергейс Франц (1721—1790) — голландский философ, имевший огромное влияние на немецкую духовную жизнь второй половины XVIII в.,

- включая романтизм; в восприятии современников он и стоял рядом с Платоном.
- ⁴⁷ ...как чучело в письме Горация к Пизонам.— «О поэтическом искусстве» Горация.
- ⁴⁸ *Тиманф* (2-я пол. V в. до н. э.) — греческий художник, работа которого «Жертвоприношение Ифигении» (ее имеет в виду автор) известна по Квинтилиану, Цицерону и другим древним авторам.
- ⁴⁹ ...*святой Густав*...— Так автор называет шведского короля Густава Адольфа, выступавшего в Тридцатилетней войне на стороне протестантов и погибшего близ Лютцена в ноябре 1632 г.
- ⁵⁰ ...*прекрасная Мария*...— Т. е. Мария Стюарт.
- ⁵¹ ...*comédie larmoyante*...— «Слезная комедия» (фр.) — драматический жанр XVIII в.
...*exeunt omnes*...— Все выходят (лат.; ремарка в тексте драмы).
- ⁵² ...*летняя обитель мудреца на Женевском озере*...— Т. е. Жан-Жака Руссо.
- ⁵³ ...*у Морица в журнале эмпирической психологии*...— «Ноти ссаутоп, или Журнал опытной психологии», вышел в 10 томах в 1783—1793 гг., в основном под редакцией выдающегося писателя и эстетика Карла Филиппа Морица (1756—1793).

АЛЬМАНАХ ДЬЯВОЛА

- ¹ ...*сапожники забросили свои колодки*...— Подразумевается известная поговорка — см. примеч. 12 к «Ночным бдениям».
- ² ...*не положено начало изящной литературе*... толкует Шлегель...— В 1801—1804 гг. А.-В. Шлегель читал в Берлине публичные лекции «об изящной литературе и искусстве», что и имеет в виду автор.
- ³ ...*черные воды Стикса и Флегетона*...— Эти реки преисподней знаменуют здесь отрицательных, «адских» персонажей в романах Жан-Поля.
- ⁴ ...*aqua toffana*...— Сильный яд (лат.).

Ф.-В.-Й. ШЕЛЛИНГ

Среди всех известных философов-диалектов начала XIX в. Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг (1775—1854) выделяется своей глубокой близостью искусству, поэтическому творчеству.

В течение всей жизни Шеллинг испытывал потребность писать стихами. Особенно ощутимо это на самом рубеже веков. Шеллинг овладевает поэтической техникой, причем его особенно влекут трудные для воспроизведения античные метры и искусная строфика романской поэзии. Шеллинг вполне успешно пробует себя в переводах из Петрарки и Данте, едва ли уступая в качестве А. В. Шлегелю. Шеллинг робел перед Шлегелем как поэтическим мэтром и просил того перевести для своего диалога «Бруно» (1801) два небольших отрывка из Софокла и Аристофана. Между тем сам Шеллинг перевел четыре сонета Петрарки (№ 9, 13, 203, 289), из которых два нашли место в «Букетах романской поэзии» А. В. Шлегеля (1804) и не были никем отличены от переводов самого издателя.

Постепенно сложился небольшой корпус поэтических произведений и переводов Шеллинга. Лишь немного увидело свет при жизни философа. Стихотворения и переводы были собраны лишь в десятом томе посмертного собрания сочинений Шеллинга, изданного его сыном (1861). Поздние стихотворения Шеллинга издавались также отдельно — Эрихом Шмидтом в 1913 г. (в количестве 300 экземпляров для библиофильского Общества Максимилиана) и Отто Беншем в 1917 г. в Йене.

Из чего же состоит поэтический корпус Шеллинга? Прежде всего из двух стихотворений, которые обращают на себя внимание размером и острым содержанием — это «Эпикурейские воззрения Гейнца Упрямца» и «Последние слова пастора из Дроттинга». «Последние слова пастора...» вместе с тремя небольшими стихотворениями были напечатаны в «Альманахе Муз на 1802 год», изданном А.-В. Шлегелем и Л. Тиком. Далее следует назвать

написанное октавами (всего их 13) вступление к задуманному Шеллингом большому натурфилософскому эпосу «Природа», — как предполагают, то был совместный замысел Шеллинга и Гете, сблизившихся после публикации сочинения Шеллинга «О мировой душе» (1797). Далее: двенадцать выразительных строк, написанных дантовскими терцинами, обращены к Данте и относятся к рубежу веков, — они были обнаружены в рукописи лекций по философии искусства, которые Шеллинг читал в 1802 г. Затем следуют мелкие стихотворения и альбомные записи — они датируются более поздним временем. Кроме сонетов Петрарки, известны еще два переведенных с итальянского сонета, источник которых не установлен, и два отрывка из «Божественной комедии» Данте — один, верифмованный, передает надпись на вратах Ада, другой, рифмованный, содержит полный перевод второй песни «Рая».

Маленькие поэтические произведения Шеллинга позволяют заглянуть в почти не освещенные уголки духовной жизни философа. Правда, философские работы Шеллинга в разной мере не чужды поэтического качества, тем более, что их создатель нередко задумывается над сокровенной сущностью поэтического творчества. А читатель настоящей книги сверх того хорошо понимает, что уже псевдоним, выбранный Шеллингом и Шлегелем для публикации в «Альманахе Муз» — Бонавентура, — вносит в немецкую литературу первых лет XIX в. совсем особую интригу, развязка которой еще не наступила!..

В настоящем издании помещены переводы пяти стихотворных произведений Шеллинга — ядро его поэтического корпуса.

ЭПИКУРЕЙСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ ГЕЙНЦА УПРЯМЦА

Более точный перевод был бы — «Эпикурейское вероисповедание Гейнца Видерпорста»; Видерпорст — имя, заимствованное в произведениях Ганса Сакса, памятного юршбергского поэта-башмач-

ника, мейстерзингера; русское слово «упрямец» хорошо передает внутреннюю форму немецкого имени. Четырехударный немецкий стих, «книittel-ферз», которым написано стихотворение, связывался прежде всего с именем Ганса Сакса — особенно после того, как Гете в 1776 г. напечатал свое «Поэтическое призвание Ганса Сакса». Подобным размером традиционно пользовались для виртуозно-незатрудненного выражения самого разнообразного содержания. Привлекательный для профессионала, этот стих с его парными рифмами оказывался самым естественным и для поэта-любителя; в этом стихе легко выразиться и поэтической иронией, и легко сказать о том серьезном, о чем затруднительно сказать прямо. Шеллинг излагает в стихотворении то, что не годилось для академической, ученой прозы. Стихотворение включает целую систему вольнодумства — так, как если бы в своих философских сочинениях Шеллинг до какой-то степени скрывал свои подлинные взгляды. «Эпикурейские воззрения» с их волподумством служат окошком в не выявленный ипаче слой подлинной шеллинговской мысли, неотстоявшейся, бурной, вызывающей и безусловно не согласной с академическим философским благоправием.

Ф. Шлегель писал осенью 1799 г. Шлейермахеру: «Поскольку люди постоянно столь угрюмо-неистовы в своих делах, с Шеллингом приключился новый припадок его застарелого энтузиазма в отношении иррелигиозности. Посему он набросал „Эпикурейские воззрения“ (...) Наша филирония (любовь к иронии.— А. М.) очень за то, чтобы опубликовать его в „Атенеэ“, если твоя не против. Но надо еще подумать. Некоторые серьезные места очень мне нравятся — помимо остроумных (...) Что Видерпорст написал Шеллингом, необходимо держать в тайне. Мы и Тику этого не сказали, который чесал в затылке, теряясь в догадках». Тем не менее публикация в «Атенеэ» не состоялась — против высказался Гете. Однако многое выражает здесь именно шеллинговское «гетсаиство» — видение природы как живой целостности. Именно «серьезный» фрагмент

Шеллинг напечатал в своем «Журнале спекулятивной физики» (1801). Полностью при жизни философа стихотворение не публиковалось.

- ¹ «Речи» — сочинение Ф. Д. Шлейермахера «О религии. Речи, обращенные к образованным среди презиращающих ее» (сокращенно — «Речи о религии», 1799). Это написанное в экзальтированном тоне сочинение протестантского философа и богослова произвело сильное впечатление в склонных к романтизму кругах.
- ² «Фрагменты» — излюбленный раннеромантический жанр, который был широко представлен в журнале «Атеней».
- ³ «Люцинда» (1799) — роман Ф. Шлегеля, проповедующий «эмансипированную» чувственность, столь близкую к шеллинговскому Упрямцу. Шлейермахер в 1800 г. напечатал «Письма о „Люцинде“», разъясняющие смысл этого произведения, в частности религиозное значение психологического самопознания. И о «Люцинде», и о «Письмах» Шлейермахера в Германии вспомнили спустя 30 лет, в эпоху «Молодой Германии» с ее лозунгом «эмансипации плоти», и очень любопытно, что когда в те годы в руки Фарнгагена фон Энзе попал роман «Ночные бдения», он показался ему типичным созданием «Молодой Германии», со всеми ее мотивами и особенностями формы.
- ⁴ *Чтоб их всех черт побрал... москвитов.* — Намек на враждовавшего с романтиками писателя Августа Коцебу (1761—1819), популярного драматурга, который много лет прожил в России и пользовался весьма сомнительной репутацией.

ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА
ПАСТОРА ИЗ ДРОТТИНГА,
ЧТО В ЗЕЛАНДИИ

Это и последующие стихотворения были напечатаны в «Альманахе Муз на 1802 год». Разрабатываемая сюжет в духе литературы «ужасов», Шеллинг

обращается к типичным мотивам и мифологемам своего времени. В творчестве Шеллинга, если не считать «Ночных бдений», это стихотворение уникально, оно лишено окружения, что затрудняет его восприятие. Свой «северный» сюжет Шеллинг показательным образом разрабатывает романскими терцинами.

Сюжет стихотворений был подсказан Шеллингу романтическим натурфилософом Хенриком Стеффенсом (1773—1845), норвежцем по происхождению, профессором в Бреслау (Вроцлав), а затем в Берлине. В своих «Воспоминаниях» (1840—1844) Стеффенс рассказывал: «Загадочное происшествие, которое я привез с собою с родины, потрясло Гете, когда я рассказал его,— Шеллинг разработал его терцинами. Мне же оно казалось моею собственностью, и я долгое время трудился, развивая его в драматической форме. Как известно, согласно этому рассказу проповедник, живущий в голой и пустынной стороне, принужден сочетать узами брака жепиха и невесту,— действие происходит ночью, в церкви, которая единственно уцелела от деревни, уничтоженной наводнением; только она одна и возвышается над песчаными дюнами. К берегу пристали чужестранцы, язык их непонятен; проповедник вынужден против воли совершить обряд. Его выгоняют затем вон, а чужаки ушлепают на своих судах; невесту же находят в церкви убитой. Эту неразрешимую загадку рассказа надо было явить, не разрешить. Однако я намеревался представить в образе проповедника небо — ясное религиозное настроение души, а в образе жениха — ад, титанические заблуждения. Я так и не мог добиться ясности плана. Написанные части драмы исчезли из моих бумаг; однако это попытка занимала меня столь долго, что составила существенную часть моей тогдашней жизни» (*Steffens H. Lebenserinnerungen aus dem Kreis der Romantiker/Hrsg. von F. Gundelfinger. Jena, 1908. S. 211—212*).

ПЕСНЯ

Поэтическое творчество Шеллинга многообразно отразилось в переписке Каролины Шлегель-Шеллинг. Так, 2 марта 1801 г. она писала А.-В. Шлегелю: «Вот маленькая песня, но, право, не знаю, сочтет ли ее Шеллинг достаточно значительной для альманаха. Пока посылаю ее. Он много занимается и, в частности, упражняется в античной метрике, переводя Гесиода. Мне хотелось бы, чтобы он мог спрашивать у тебя совета; в его гексаметры я пока не верю. Скажи при случае Тику, что Шеллинг к нему расположен, что он обожает его последние сонеты» (*Caroline. Briefe aus der Frühromantik/Hrsg. von E. Schmidt. Leipzig, 1913. Bd. 2. S. 55*).

В. А. Жуковский опубликовал свое переложение «Песни» в журнале «Сын отечества» (1820):

К МИМОПРОЛЕТАВШЕМУ ЗНАКОМОМУ ГЕНИЮ

Скажи, кто ты, пленитель безымянной?
С каких небес примчался ты ко мне?
Зачем опять влечешь к обетованной,
Давно, давно покинутой стране?

Не ты ли тот, который жизнь младую
Так сладостно мечтами усыплял
И в старину про гостью неземную —
Про милую надежду ей шептал?

Не ты ли тот, кем всё во дни прекрасны
Так жило там, в счастливых тех краях,
Где луг душист, где воды светло-ясны,
Где весел день на чистых небесах?

Не ты ль во грудь с живым весны дыханьем
Таинственной унылостью влетал,
Ее теснил томительным желаньем
И трепетным весельем волновал?

Поэзии священным вдохновеньем
Не ты ль с душой посылся в высоту,
Пред ней горел божественным виденьем,
Разоблачал ей жизни красоту?

В часы утрат, в часы печали тайной,
Не ты ль всегда беседой сердца был,
Его смирял утехою случайной
И тихую надеждою целил?

И не тебе ль всегда она внимала
В чистейшие минуты бытия,
Когда судьбы святыню постигала,
Когда лишь Бог свидетель был ея?

Какую ж весть принес ты, мой пленитель?
Или опять мечтой лишь поманишь
И, прежних дум напрасный пробудитель,
О счастья шепнешь и замолчишь?

О Гений мой, побудь еще со мною;
Бывалый друг, отлетом не спеши:
Останься, будь мне жизнью земною;
Будь ангелом-хранителем души.

7 августа 1819

(Жуковский В. А. Стихотворения/Под ред. Н. В. Измайлова. Л., 1956. С. 234—235).

ЦВЕТOK И ТВАРЬ

В стихотворении тонко развиты натурфилософские противопоставления, члены которых должны выстроиться в параллельные ряды отождествлений: символическое просматривается через конкретное, и наоборот,

СОДЕРЖАНИЕ

БОНАВЕНТУРА

НОЧНЫЕ БДЕНИЯ

*Перевод с немецкого
В. Б. Микушевича*

| | |
|--|----|
| <i>Первое бдение</i> | |
| Умиравший вольнодумец | 5 |
| <i>Второе бдение</i> | |
| Эпифания дьявола | 11 |
| <i>Третье бдение</i> | |
| Речь каменной статуи Криспина относительно главы de adulteriis | 17 |
| <i>Четвертое бдение</i> | |
| Гравюры на дереве вкпе с Житием безумца, излагаемым в форме пьесы для театра марионеток | 28 |
| <i>Пятое бдение</i> | |
| Два брата | 48 |
| <i>Шестое бдение</i> | |
| Страшный суд | 56 |
| <i>Седьмое бдение</i> | |
| Автопортретирование — Погребальная речь в день рождения младенца — Стихоплет — Дело об оскорблении | 67 |
| <i>Восьмое бдение</i> | |
| Вознесение поэта — Отречение от жизни — Пролог шута к трагедии «Человек» | 78 |

| | |
|--|-----|
| <i>Девятое бдение</i> | |
| Бедлам — Монолог безумного творца — Разумный дурак | 91 |
| <i>Десятое бдение</i> | |
| Зимняя ночь — Греза любви — Невеста белая, невеста румяная — Погребение монахини — Бег по гаммам | 103 |
| <i>Одиннадцатое бдение</i> | |
| Предощущения слепорожденного — Обет — Первый восход Солнца | 113 |
| <i>Двенадцатое бдение</i> | |
| Орел, возносящийся к Солнцу — Бессмертный парик — Ложная косица — Апология жизни — Комедиант | 117 |
| <i>Тринадцатое бдение</i> | |
| Дифирамб весне — Заглавие кпиги, которой нет — Инвалидный дом богов — Кодекс Венеры | 126 |
| <i>Четырнадцатое бдение</i> | |
| Любовь двух помешанных | 133 |
| <i>Пятнадцатое бдение</i> | |
| Театр марионеток | 148 |
| <i>Шестнадцатое бдение</i> | |
| Цыганка — Духовидец — Могила отца | 157 |

ДОПОЛНЕНИЯ

| | |
|---|-----|
| Альманах дьявола. Перевод А. В. Михайлова | 171 |
| Ф.-В.-Й. Шеллинг | |
| Эпикурейские воззрения Гейнца Упряма. Перевод В. В. Вебера | 174 |
| Последние слова пастора из Дроттнингга, что в Зеландии. Перевод Е. В. Витковского | 186 |

| | |
|--|-----|
| Песня. Перевод В. В. Вебера | 193 |
| Цветок и тварь. Перевод В. В. Вебера | 195 |
| Удел земли. Перевод В. В. Вебера , , . | 196 |

ПРИЛОЖЕНИЯ

| | |
|--|-----|
| А. В. Гулыга. Кто написал роман «Ночные бдения»? | 199 |
| Примечания (Сост. А. В. Михайлов) | 233 |

БОНАВЕНТУРА

НОЧНЫЕ БДЕНИЯ

Утверждено к печати
Редакционной коллегией серии
«Литературные памятники»
АН СССР

Редактор

И. Г. Древлянская

Художественный редактор

Н. Н. Михайлова

Технический редактор

З. Б. Павлюк

Корректоры

Е. Н. Белоусова, В. А. Бобров

ИБ № 46349

Сдано в набор 10.11.89

Подписано к печати 05.03.90

Формат 70×90^{1/32}

Бумага

типографская № 2

Гарнитура обыкновенная

Печать высокая

Усл. печ. л. 9,65. Усл. кр. отт. 10,82.

Уч.-изд. л. 9,0

Тираж 50 000 экз. Тип. зак. 944

Цена 4 р.

Ордена Трудового Красного Знамени

издательство «Наука»

117864 ГСП-7, Москва В-485

Профсоюзная ул., 90.

4-я типография издательства «Наука»
630077, Новосибирск 77, ул. Станиславского, 25



**ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ
ШЕЛЛИНГ**



КАРОЛИНА
ШЕЛЛИНГ



АВГУСТ
КЛИНГЕМАН



*Иллюстрации Л. Коринта (1858—1925)
к «Ночным бдениям» Бонавентуры*





*Иллюстрации Л. Коринга (1858—1925)
к «Ночным бдениям» Бомавентуры*





*Иллюстрация Л. Коринта (1858—1925)
к «Ночным бдениям» Бонавентуры*

